

Пелагия и черный монах

Автор:

Борис Акунин

Пелагия и черный монах

Борис Акунин

Провинциальный детектив, или Приключения сестры Пелагии #2

Акунинский "Черный монах" - клерикальное чтиво-2, очередная соборьянская солянка с детективным сюжетом и изрядным количеством религиозно-нравственных отступлений. В десятом своем романе Б.Акунин собрался наконец с духом напрямую помериться силами со своим основным зарубежным конкурентом - У.Эко и его романом века "Имя розы".

Лев Данилкин

Борис Акунин

Пелагия и черный монах

Пролог

Явление Василиска

...в несколько широких шагов приблизился к монахине. Выглянул в окно, увидел взмыленных лошадей, расхристанного чернеца и грозно сдвинул свои кустистые брови.

– Крикнул мне: «Матушка, беда! Он уж тут! Где владыка?», – донесла Пелагия преосвященному вполголоса.

При слове «беда» Митрофаний удовлетворенно кивнул, как если б и не ожидал ничего иного от этого безмерно длинного, никак не желающего закончиться дня. Поманил пальцем ободранного, запыленного вестника (по манере, да и из самого крика уже ясно было, что примчавшийся невесть откуда монах именно что вестник, причем из недобрых): а ну, поднимись-ка.

Коротко, но глубоко, чуть не до земли поклонившись епископу, чернец бросил вожжи и кинулся в здание суда, расталкивая выходившую после процесса публику. Вид божьего служителя – непокрытого, с расцарапанным в кровь лбом – был настолько необычен, что люди оглядывались, кто с любопытством, а кто и с тревогой. Бурное обсуждение только что закончившегося заседания и удивительного приговора прервалось. Похоже, что намечалось, а может, уже и произошло некое новое Событие.

Вот и всегда оно так в тихих заводях вроде нашего мирного Заволжска: то пять или десять лет тишь да гладь и сонное оцепенение, то вдруг один за другим такие ураганы задуют – колокольни к земле гнет.

Нехороший гонец взбежал по белой мраморной лестнице. На верхней площадке, под весами слепоглазой Фемиды замялся, не сразу поняв, куда поворачивать, вправо или влево, но тут же увидел в дальнем конце рекреации кучку столичных корреспондентов и две чернорясные фигуры, большую и маленькую: владыку Митрофания и рядом с ним очкастую сестрицу, что давеча стояла в окне.

Грохоча по гулкому полу сапожищами, монах бросился к архиерею и еще издали возопил:

– Владыко, он уж тут! Близехонько! За мной грядет! Огромен и черен!

Петербургские и московские журналисты, среди которых были и настоящие светила этой профессии, прибывшие в Заволжск ради громкого процесса, уставились на дикообразного рясофора с недоумением.

– Кто грядет? Кто черен? – пророкотал преосвященный. – Говори ясно. Ты кто таков? Откуда?

– Смиренный чернец Антипа из Арарата, – торопливо поклонился заполошный, потянулся скуфью сорвать, да не было скуфьи, обронил где-то. – Василиск грядет, кто ж еще! Он, заступник! Со скита исшел. Велите, владыко, в колокола звонить, святые иконы выносить! Свершается пророчество Иоанново! «Се, гряду скоро, и мзда моя со мною, воздати кое-муждо по делом его!» Коне-ец! – завывал он. – Всему конец!

Столичные люди, те ничего, известия о конце света не испугались, только навестили уши и ближе к монаху придвинулись, а вот судейский уборщик, который уже начал в коридоре махать своей метлой, – тот от страшного крика на месте обмер, орудие свое уронил, закрестился.

А предвестник Апокалипсиса членораздельно говорить от тоски и ужаса более не мог – затрясся всем телом, и по мучнистому, обросшему бородой лицу покатались слезы.

Как всегда в критических случаях, преосвященный проявил действенную решительность. Применив древний рецепт, гласящий, что лучшее средство от истерики – хорошая затрещина, Митрофаний вlepил рыдальцу своей увесистой дланью две звонкие оплеухи, и монах сразу трястись и выть перестал. Захлопал глазами, икнул. Тогда, укрепляя успех, архиерей схватил гонца за ворот и поволол к ближайшей двери, за которой располагался судебный архив. Пелагия, жалостно ойкнувшая от звука пощечин, семенила следом.

На архивариуса, собравшегося было побаловаться чайком по случаю окончания присутствия, епископ только бровью двинул – чиновника как ветром сдуло, и духовные особы остались в казенном помещении втроем.

Владыка усадил всхлипывающего Антипу на стул, сунул под нос стакан с едва початым чаем – пей. Выждал, пока монах, стуча о стекло зубами, смочит стиснувшееся горло, и нетерпеливо спросил:

– Ну, что там у вас в Арарате стряслось? Сказывай.

Корреспонденты так и остались перед запертой дверью. Постояли некоторое время, на все лады повторяя загадочные слова «василиск» и «Арарат», а потом понемногу стали расходиться, так и оставленные в полнейшей озадаченности.

Оно и понятно – люди всё были приезжие, в наших заволжских святынях и легендах не сведущие. Местные, те сразу бы сообразили.

Однако, поскольку и среди наших читателей могут случиться люди посторонние, в Заволжской губернии никогда не бывавшие и даже, возможно, о ней не слышавшие, прежде чем описать разговор, который произошел в архивном помещении, сделаем некоторые разъяснения, могущие показаться чересчур пространными, но для ясности дальнейшего повествования совершенно необходимые.

* * *

С чего бы уместнее начать?

Пожалуй, с Арарата. Вернее, с Нового Арарата, Ново-Араратского монастыря, прославленной обители, что находится на самом севере нашей обширной, но малонаселенной губернии. Там, среди вод Синего озера, по своим размерам более похожего на море (в народе его так и называют: «Сине-море»), на лесистых островах, издревле спасались от суеты и злобы святые старцы. По временам монастырь приходил в запустение, так что на всем архипелаге по уединенным кельям и пустынькам оставалась лишь малая горстка отшельников, но вовсе не угасал никогда, даже в Смутное время.

У такой живучести имелась одна особенная причина, именуемая «Василисков скит», но о ней мы расскажем чуть ниже, ибо скит всегда существовал как бы наособицу от собственно монастыря. Последний же в девятнадцатом столетии, под воздействием благоприятных условий нашего мирного, спокойно устроенного времени стал что-то уж очень пышно расцветать – сначала благодаря моде на северные святыни, распространившейся среди состоятельных богомольцев, а в совсем недавнюю пору радением нынешнего архимандрита отца Виталия II, именуемого так, потому что в прошлом столетии в обители уже был настоятель того же прозвания.

Этот незаурядный церковный деятель привел Новый Арарат к доселе небывалому процветанию. Будучи приукажен заведовать тихим островным монастырем, высокопреподобный справедливо рассудил, что мода – особа ветренная и, пока она не обратила свой взор в сторону какой-либо иной, не менее почтенной обители, надобно извлечь из притока пожертвований всю возможную

пользу.

Начал он с замены прежней монастырской гостиницы, ветхой и худосодержанной, на новую, с открытия превосходной постной кухмистерской, с устройства лодочных катаний по протокам и бухточкам, чтоб приезжие из числа состоятельных людей не спешили уезжать из благословенных мест, которые по своим красотам, чистоте воздуха и общей природной умиленности никак не уступают лучшим финским курортам. А потом, искусно расходуя образовавшийся излишек средств, принялся понемногу создавать сложное и весьма доходное хозяйство, с механизированными фермами, иконописной фабрикой, рыболовной флотилией, копильнями и даже скобяным заводиком, изготавливающим лучшие во всей России оконные задвижки. Построил и водопровод, и даже рельсовую дорогу от пристани к складам. Кое-кто из опытных старцев зароптал, что жить в Новом Арарате стало неспасительно, но голоса эти звучали боязливо и наружу почти вовсе не просачивались, заглушаемые бодрым стуком кипучего строительства. На главном острове Ханаане настоятель возвел множество новых зданий и храмов, которые поражали массивностью и великолепием, хотя, по мнению знатоков архитектуры, не всегда отличались непогрешительным изяществом.

Несколько лет назад ново-араратское «экономическое чудо» приезжала исследовать специальная правительственная комиссия во главе с самим министром торговли и промышленности многоумным графом Литте – нельзя ли позаимствовать опыт столь успешного развития для пользы всей империи.

Оказалось, что нельзя. По возвращении в столицу граф доложил государю, что отец Виталий является адептом сомнительной экономической теории, полагающей истинное богатство страны не в природных ресурсах, а в трудолюбии населения. Хорошо архимандриту, когда у него население особенное: монахи, выполняющие все работы под видом монастырского послушания, да еще безо всякого жалования. Стоит такой работник у маслобойной машины или, скажем, токарного станка и не думает ни о семье, ни о бутылке – знай себе душу спасает. Отсюда и качество продукции, и ее немыслимая для конкурентов дешевизна.

Для Российского государства эта экономическая модель решительно не годилась, но в пределах вверенного отцу Виталию архипелага явила поистине замечательные плоды. Пожалуй, монастырь со всеми его поселками, мызами, хозяйственными службами и сам напоминал собою небольшое государство –

если не суверенное, то, во всяком случае, обладающее полным самоуправлением и подотчетное единственно губернскому архиерею преосвященному Митрофанию.

Монахов и послушников на островах при отце Виталии стало числиться до полутора тысяч, а население центральной усадьбы, где кроме братии проживало еще и множество наемных работников с чадами и домочадцами, теперь не уступало уездному городу, особенно если считать паломников, поток которых, вопреки опасениям настоятеля, не только не иссяк, но еще и многократно увеличился. Теперь, когда монастырская экономика прочно встала на ноги, высокопреподобный, верно, охотно обошелся бы и без богомольцев, которые лишь отвлекали его от неотложных дел по управлению ново-араратской общиной (ведь среди паломников попадались знатные и влиятельные особы, требующие особенного обхождения), но тут уж ничего поделать было нельзя. Люди шли и ехали из дальнего далека, а после еще плыли через огромное Синее озеро на монастырском пароходе не для того, чтобы посмотреть на промышленные свершения рачительного пастыря, а чтоб поклониться ново-араратским святыням и первой из них – Василискову скиту.

Сей последний, впрочем, для посещений был совершенно недоступен, ибо находился на малом лесистом утесе, носящем название Окольного острова и расположенном прямо напротив Ханаана, но только не обжитой его стороны, а пустынной. Богомольцы, прибывавшие в Новый Арарат, имели обыкновение опускаться у воды на колени и благоговейно взирать на островок, где обретались святые схимники, молителю за всё человечество.

Однако про Василисков скит, а также про его легендарного основателя, как и было обещано, расскажем пообстоятельней.

* * *

Давным-давно, лет шестьсот, а может и восемьсот назад (в точной хронологии «Житие святого Василиска» несколько путается) брел через дремучие леса некий отшельник, про которого достоверно известно лишь, что звали его Василиском, что лет он был немалых, жизнь прожил трудную и в начале своем какую-то особенно несправедливую, но на склоне лет озаренную светом истинного раскаяния и жажды Спасения. Во искупление прежних, преступно прожитых лет взял монах обет: обойти всю землю, пока не сыщется места, где он сможет

лучше всего послужить Господу. Иногда в каком-нибудь благочестивом монастыре или, наоборот, среди безбожных язычников ему казалось, что вот оно, то самое место, где должно остаться смиренному иноку Василиску, но вскорости старца брало сомнение – а ну как некто другой, пребывая там же, послужит Всевышнему не хуже, и, подгоняемый этой мыслью, которая безусловно ниспосылалась ему свыше, монах шел дальше и нигде не находил того, что искал.

И вот однажды, раздвинув густые ветви ельника, он увидел перед собой синюю воду, начинавшуюся прямо от края леса и уходившую навстречу хмурому небу, чтобы сомкнуться с ним. Прежде Василиску видеть так много воды не приходилось, и в своей простодушии он принял это явление как великое чудо Господне, и преклонил колена, и молился до самой темноты, а потом еще долго в темноте.

И было иноку видение. Огненный перст рассек небо на две половины, так что одна сделалась светлая, а другая черная, и вонзился во вспенившиеся воды. И громовой голос возвестил Василиску: «Нигде боле не ищи. Ступай туда, куда показано. Там место, от коего до Меня близко. Служи Мне не среди людей, где суeta, а среди безмолвия, и через год призову тебя».

В спасительном своем простодушии монах и не подумал усомниться в возможности осуществления этого диковинного требования – идти в середину моря, и пошел, и вода прогибалась под ним, но держала, чему Василиск, памятуя о евангельском водохождении, не очень-то и удивлялся. Шел себе и шел, читая «Верую» – всю ночь, и после весь день, а к вечеру стало ему страшно, что не найдет он среди водной пустыни того места, куда указал перст. И тогда чернецу было явлено второе чудо кряду, что в житиях святых бывает нечасто.

Когда стемнело, старец увидел вдали малую огненную искорку и повернул на нее, и со временем узрел, что это сосна, пылающая на вершине холма, а холм восстает прямо из воды, и за ним еще земля, пониже и пошире (это был нынешний Ханаан, главный остров архипелага).

И поселился Василиск под опаленной сосной в пещере. Прожил там некоторое время в полном безмолвии и непрестанном мысленном молитвочтении, а год спустя Господь исполнил обещанное – призвал раскаявшегося грешника к Себе и дал ему место у Своего Престола. Скит же, а впоследствии образовавшийся по соседству монастырь был назван Новым Араратом в ознаменование горы,

которая единственно осталась возвышаться над водами, когда «разверзошася вси источники бездны и хляби небесные», и спасла праведных.

«Житие» умалчивает, откуда преемники Василиска узнали про Чудо о Персте, если старец хранил столь неукоснительное молчание, но будем снисходительны к древнему преданию. Делая уступку скептицизму нашего рационалистического века, допускаем даже, что святой основатель скита добрался до островов не чудодейственным водохождением, а на каком-нибудь плоту или, скажем, на выдолбленном бревне – пускай. Но вот вам факт неоспоримый, проверенный многими поколениями и, если угодно, даже подтверждаемый документально: никто из схимников, селившихся в подземных кельях Василискава скита, не ожидал Божьего призвания долгое время. Через полгода, через год, много через полтора все избранники, алкавшие спасения, достигали желаемого и, оставив позади кучку костяного праха, возносились из царства земного в Иное, Небесное. И дело тут не в скудной пище, не в суровости климата. Известны ведь многие другие скиты, где отшельники свершали еще не такие подвиги пустынножительства и плоть умерщвляли куда истовей, а только Господь прощал и принимал их гораздо неспешнее.

Потому и пошла молва, что из всех мест на земле Василисков скит к Богу самый ближний, расположенный на самой околице Царствия Небесного, отсюда и другое его название: Окольный остров. Некоторые, кто на архипелаг впервые приехал, думали, что это он так назван из-за близости к Ханаану, где все храмы и пребывает архимандрит. А он, островок этот, не от архимандрита, он от Бога был близко.

Жили в том ските всегда только трое особенно заслуженных старцев, и для ново-араратских монахов не было выше чести, чем завершить свой земной путь в тамошних пещерах, на костях прежних праведников.

Конечно, далеко не все из братии рвались к скорому восшествию в Иное Царство, потому что и среди монахов многим земная жизнь представляется более привлекательной, чем Следующая. Однако же в волонтерах недостатка никогда не бывало, а напротив имелась целая очередь жаждущих, в которой, как и положено для всякой очереди, случались ссоры, споры и даже нешуточные интриги – вот как иным монахам не терпелось поскорее переплыть узкий проливчик, что отделял Ханаан от Окольного острова.

Из трех схимников один считался старшим и посвящался в игумены. Только ему скитский устав разрешал отворять уста – для произнесения не более, чем пяти слов, причем четыре из них должны были непременно происходить из Священного Писания и лишь одно допускалось вольное, в котором обычно и содержался главный смысл сказанного. Говорят, в древние времена схиигумену не позволялось и этого, но после того, как на Ханаане возродился монастырь, пустынники уже не тратили время на добывание скудного пропитания – ягод, кореньев и червей (более ничего съедобного на Окольном острове отродясь не водилось), а получали все необходимое из обители. Теперь святые отшельники коротали время, вырезая кедровые четки, за которые паломники платили монастырю немалые деньги – бывало, до тридцати рублей за одну низку.

Раз в день к Окольному подплывала лодка – забрать четки и доставить необходимое. К лодке выходил скитоначальник и произносил короткую цитацию, в которой содержалась просьба, обычно практического характера: доставить неких припасов, или лекарств, или обувь, или теплое покрывало. Предположим, старец говорил: «Принесе ему и даде одеяло» или «Да принесется вода грушева». Тут начало речений взято из Книги Бытия, где Исаак обращается к сыну своему Исаву, а последнее слово подставлено по насущной надобности. Лодочник запоминал сказанное, передавал слово в слово отцу эконому и отцу келарю, а те уж проникали в смысл – бывало, что и неуспешно. Взять хоть ту же «воду грушеву». Рассказывают, однажды схиигумен мрачно изрек, показывая посох одного из старцев: «Излияся вся утроба его». Монастырское начальство долго листало Писание, обнаружило эти странные слова в «Деяниях апостолов», где описано самоубийство презренного Иуды, и ужасно перепугалось, решив, что схимник свершил над собой худший из смертных грехов. Три дня звонили в колокола, строжайше постились и служили молебны во очищение от скверны, а после оказалось, что со старцем всего лишь приключилась поносная хворь и схиигумен просил прислать грушевого отвара.

Когда старейший из пустынников говорил лодочнику: «Ныне отпускаеши раба Твоего», это означало, что один из отшельников допущен к Господу, и на образовавшуюся вакансию тут же поступал новый избранник, из числа очередников. Иногда роковые слова произносил не схиигумен, а один из двух прочих молчальников. Так в монастыре узнавали, что прежний старец призван в Светлый Чертог и что в скиту отныне новый управитель.

Как-то раз, тому лет сто, на одного из схимников напал приплывший с дальних островов медведь и принялся драть несчастного. Тот возьми да закричи:

«Братие, братие!» Прибежали двое остальных, прогнали косолапного посохами, но после жить с нарушившим обет молчания не пожелали – отослали в монастырь, отчего изгнанный стал скорбен духом и вскоре помер, больше ни разу не растворив уст, но был ли допущен пред Светлые Господни Очи или пребывает среди грешных душ, неизвестно.

Что еще сказать про пустынников? Ходили они в черном одеянии, которое представляло собой род грубоотканого мешка, перетянутого вервием. Куколь у схимников был узок, опущен на самое лицо и сшит краями в ознаменование полной закрытости от суетного мира. Для глаз в этом остроконечном колпаке проделывались две дырки. Если паломники, молившиеся на ханаанском берегу, видели на островке кого-то из святых старцев (это бывало крайне редко и почиталось за особую удачу), то взору наблюдающих представал некий черный куль, медленно передвигающийся среди мшистых валунов – будто и не человек вовсе, а бесплотная тень. Ну а теперь, когда рассказано и про Новый Арарат, и про скит, и про святого Василиска, пора вернуться в судебный архив, где владыка Митрофаний уже приступил к допросу ново-араратского чернеца Антипы.

* * *

«Что со скитом неладно, наши уж давно говорят. (Так начал свой невероятный рассказ немного успокоившийся от оплеух и чаю брат Антипа.) В самое Преображение, к ночи, вышел Агапий, послушник, на косу постирать исподнее для старшей братии. Вдруг видит – у Окольного острова на воде как бы тень некая. Ну, тень и тень, мало ль чего по темному времени привидится. Перекрестился Агапий и знай себе дальше полощет. Только слышит: будто звук тихий над водами. Поднял голову – Матушка-Богородица! Черная тень висит над волнами, оных словно бы и не касаясь, и слова слышно, неясно. Агапий разобрал лишь: „Проклинаю“ и „Василиск“, но ему и того довольно было. Побросал недостиранное, понесся со всех ног в братские келии и давай кричать – Василиск, мол, воротился, собою гневен, всех проклятию предает.

Агапий – отрок глупый, в Арарате недавно, и веры ему ни от кого не было, а за брошенное белье, волною смытое, его отец подкеларь еще и за виски оттащил. Но после того стала черная тень и другим из братии являться: сначала отцу Иларию, старцу весьма почтенному и воздержному, потом брату Мельхиседеку, после брату Диомиду. Всякий раз ночью, когда луна. Слова всем слышались

различные: кому проклятие, кому увещевание, а кому и вовсе нечленораздельное – это уж смотря в какую сторону ветер дул, но видели все одно и то же, на чем перед самым высокопреподобным Виталием икону целовали: некто черный в одеянии до пят и остроконечном куколе, как у островных старцев, парил над водами, говорил слова и грозно перст воздевал.

Архимандрит, доведавшись про чудесные явления, братию разбранил. Сказал, знаю я вас, шептунов. Один дурак ляпнет, а другие уж и рады звонить. Истинно говорят, чернец хуже бабы болтливой. И еще ругал всяко, а потом строжайше воспретил после темна на ту сторону Ханаана ходить, где Постная коса к Окольному острову тянется».

Здесь преосвященный прервал рассказчика:

– Да, помню. Писал мне отец Виталий про глупые слухи, сетовал на монашеское дурноумие. По его суждению, проистекает это от безделья и праздности, отчего он испрашивал моего благословения привлекать на общинополезные работы всю братию вплоть до иеромонашеского чина. Я благословил.

А сестра Пелагия, воспользовавшись перерывом в повествовании, быстро спросила:

– Скажите, брат, а сколько примерно сажень от того места, где видели Василиска, до Окольного острова? И далеко ли в воду коса выходит? И еще: где именно тень парила – у самого скита или все же в некотором отдалении?

Антипа поморгал, глядя на суелюбивую монашку, но на вопросы ответил:

– От косы до Окольного сажень с полста будет. А что до заступника, то допрежь меня его только издали видали, с нашего берега толком и не разглядеть. Ко мне же Василиск близехонько вышел, вот как отсюда до той картинки.

И показал на фотографический портрет заволжского губернатора на противоположной стене, до которой было шагов пятнадцать.

– Уже не «тень некая», а так-таки сам заступник Василиск? – рыкнул на монаха епископ громоподобно и свою густую бороду пятерней ухватил, что служило у него знаком нарастающего раздражения. – Прав Виталий! Вы, чернецы, хуже баб базарных!

От грозных слов Антипа вжал голову в плечи и говорить далее не мог, так что пришлось Пелагии придти ему на помощь. Она поправила свои железные очки, убрала под плат выбившуюся прядку рыжих волос и укоризненно молвила:

– Владыко, сами всегда говорите о вредности скороспелых заключений. Дослушать бы святого отца, не перебивая.

Антипа еще пуще напугался, уверенный, что от такой дерзости архиерей вовсе в озлобление войдет, но Митрофаний на сестру не рассердился и гневный блеск в глазах поумерил. Махнул иноку рукой:

– Продолжай. Да только смотри, без вранья.

И рассказ был продолжен, хоть и несколько отягощенный оправданиями, в которые счел нужным пуститься уstraшенный Антипа.

«Я ведь почему архимандритова наказа ослушался. У меня послушание травником состоять и братию лечить, кто ходить к мирскому лекарю за грех почитает. А у нас, монастырских травников, ведь как – всякую траву нужно всенепременно в день особого заступника собирать. На Постной косе, что напротив скита, самое травное место на всем Ханаане. И кирьяк произрастает от винного запойства по заступничеству великомученика Вонифатия, и охолонь-трава от блудных страсти по заступничеству преподобной Фомаиды, и лядуница в сохранение от злого очарования по заступничеству священномученика Киприяна, и много иных целительных растений. Я уж и так из-за воспрещения ни почечуйника, ни драгоморы, которые на ночной росе рвать нужно, не собирал. А на великомученицу Евфимию, что от трясовичной болезни бережет, шуша-поздняя расцветает, ее, шушу эту, и брать-то можно в одну только ночь во весь год. Разве можно было пропустить? Ну и ослушался.

Как вся братия ко сну отошла, я потихоньку во двор, да за ограду, да полем до Прощальной часовни, где схимников перед помещением во скит запирают, а там уж и Постная коса близко. Сначала боязно было, всё крестился, по сторонам

оглядывался, а потом ничего, осмелел. Шушу-позднюю искать трудно, тут привычка нужна и немалое старание. Темно, конечно, но у меня при себе лампа была, масляная. Я ее с одной стороны тряпицей завесил, чтоб не увидали. Ползаю себе на карачках, цветки обрываю и уж не помню ни про архимандрита, ни про святого Василиска. Спустился к самому краю гряды, дальше уж только вода да кое-где камни торчат. Хотел поворачивать обратно. Вдруг слышу из темноты...»

От страшного воспоминания монах сделался бледен, часто задышал, стал клацать зубами, и Пелагия подлила ему из самовара кипятку.

«Благодарствую, сестрица... Вдруг из темноты голос, тихий, но проникновенный, и каждое слово ясно слышно: „Иди. Скажи всем“. Я повернулся к озеру, и стало мне до того ужасно, что уронил я и лампу, и травосборную суму. Над водою – образ смутный, узкий, будто на камне кто стоит. Только никакого камня там нет. Вдруг... вдруг сияние неземное, яркое, много ярче, чем от газовых лампад, что у нас в Ново-Арарате нынче на улицах горят. И тут уж предстал он предо мною во всей очевидности. Черный, в рясе, за спиною свет разливается, и стоит прямо на хляби – волна мелкая под ногами плещется. „Иди, – речет. – Скажи. Быть пусту“. Молвил и перстом на Окольный остров показал. А после шагнул ко мне прямо по воде – и раз, и другой, и третий. Закричал я, руками замахал, поворотился и побежал что было мочи...»

Монах завсхлипывал, вытер нос рукавом. Пелагия вздохнула, погладила страдальца по голове, и от этого Антипа совсем расклеился.

– Побежал к отцу архимандриту, а он лается грубобренными словами – не верит, – плачущим голосом стал жаловаться он. – Посадил в скудную, под замок, на воду и корки. Четыре дни там сидел, трясся и целоденно молился, вся внутренняя ссохлась. Вышел – шатаюсь. А мне уж от высокопреподобного новое послушание уготовлено: из Ханаана на Укатай, самый дальний остров, плыть и впредь там состоять, при гадючем питомнике.

– Зачем это – гадючий питомник? – удивился Митрофаний.

– А это архимандрита доктор Коровин надоумил, Донат Саввич. Хитрого ума мужчина, высокопреподобный его слушает. Сказал, гадючий яд нынче у немцев в цене, вот мы теперь аспидов и разводим. Яд из ихних мерзких пастей давим и

в немецкую землю шлем. Тьфу! – Антипа перекрестил рот, чтоб не оскверниться злым плеванием, и полез рукой за пазуху. – Только опытнейшие и богомудрейшие из старцев, тайно собравшись, приговорили мне на Укатай не ехать, а самовольно бежать из Арарата к вашему преосвященству и всё, что видел и слышал, донести. И письмо мне с собою дали. Вот.

Владыка, насупившись, взял серый листок, нацепил пенсне, стал читать. Пелагия не церемонясь заглядывала ему через плечо.

Преосвященнейший и пречестнейший владыко!

Мы, нижепоименованные иноки Ново-Араратского общежительного монастыря, смиренно припадаем к стопам Вашего преосвященства, моля, чтоб в премудрости своей Вы не обратили на нас своего архипастырского гнева за своеволие и дерзновенность. Если мы и посмели ослушаться нашего высокопреподобнейшего архимандрита, то не из стропотности, а единственно из страха Божия и ревности служения Ему. Безвременно-мечтанен труд жития земного, и человеки падки на пустые вымыслы, но всё, что поведает Вашему преосвященству брат Антипа – истинная правда, ибо сей инок известен среди нас как брат нелживый, нестяжательный и к суетным мечтаниям не расположенный. А также и все мы, подписавшиеся, видели то же, что и он, хоть и не в такой близости.

Отец Виталий ожесточил против нас свое сердце и нам не внимает, а между тем в братии разброд и шатание, да и страшно: что может означать тягостное это знамение? Пошто святой Василиск, хранитель сей славной обители, перстом грозит и на свой пресветлый скит хулу кладет? И слова «быть пусту» – к чему они? О ските ли сказаны, о монастыре ли, либо же, быть может, в еще более широком значении, о чем нам, малоумным, и помыслить боязно? Лишь Вашему преосвященству дозволено и возможно толковать эти страшные видения. Потому и молим Вас, пречестнейший владыко, не велите карать ни нас, ни брата Антипу, а пролейте на сие ужасное происшествие свет Вашей мудрости.

Просим святых молитв Ваших, низко кланяемся и остаемся недостойные Ваши сомолитвенники и многогрешные слуги

Иеромонах Иларий

Иеромонах Мельхиседек

Инок Диомид.

– Отцом Иларием писано, – почтительно пояснил Антипа. – Ученейший муж, из академиков. Если б пожелал, мог бы игуменом быть или даже того выше, но вместо этого у нас спасается и мечтает в Василисков скит попасть, он на очереди первый. А теперь такое для него огорчение...

– Знаю Иларию, – кивнул Митрофаний, разглядывая прошение. – Помню. Неглуп, искренней веры, только очень уж истов.

Архиерей снял пенсне, оценивающе осмотрел гонца.

– А что это ты, сын мой, такой ободранный? И почему без шапки? Не от самого же Арарата ты лошадей гнал? По воде это вряд ли и возможно, если, конечно, ты не способен к водохождению навроде Василиска.

Этой шуткой епископ, верно, хотел ободрить монаха и привести его в более спокойное состояние, необходимое для обстоятельной беседы, но результат вышел прямо обратный.

Антипа вдруг вскочил со стула, подбежал к узкому оконцу хранилища и стал выглядывать наружу, бессвязно бормоча:

– Господи, да как же я забыл-то! Ведь он уж тут, поди, в городе! Пресвятая Заступница, сбереги и защити!

Оборотился к владыке и зачастил:

– Я лесом ехал, к вам поспешал. Это мне исправник, как я в Синеозерске с корабля сошел, свою коляску дал, чтоб в Заволжск скорей прибыть. Уже и в Синеозерске про явление Василиска слышали. А как стал я к городу подъезжать, вдруг над соснами он!

– Да кто он-то? – в сердцах воскликнул Митрофаний.

Антипа бухнулся на колени и пополз к преосвященному, норовя ухватить за полу.

– Он самый, Василиск! Видно, за мной припустил, семиверстными шагами или по воздуху! Черный, огромный, поверх деревьев глядит и глазища пучит! Я лошадей-то и погнал. Ветки по лицу хлещут, ветер свищет, а я всё гоню. Хотел вас предупредить, что уж близко он!

Сообразительная Пелагия догадалась первой, в чем дело.

– Это он про памятник, отче. Про Ермака Тимофеевича.

Здесь нужно пояснить, что в позапрошлый год, по велению губернатора Антона Антоновича фон Гаггенау, на высоком берегу Реки поставили величественный монумент «Ермак Тимофеевич несет благую весть Востоку». Этот памятник, самый большой во всем Поречье, составляет теперь особенную гордость нашего города, которому ничем другим перед именитыми соседями, Нижним Новгородом, Казанью или Самарой, похвастать и нечем. Должно же у каждой местности свое основание для гордости быть! У нас вот теперь есть.

Некоторыми историками считается, что знаменитый сибирский поход, последствиям которого империя обязана большей частью своих необъятных земельных владений, Ермак Тимофеевич начал именно из нашего края, в память чего и воздвигнут бронзовый исполин. Этот ответственный заказ был доверен одному заволжскому скульптору, возможно, не столь даровитому, как иные столичные ваятели, зато истинному патриоту края и вообще очень хорошему человеку, горячо любимому всеми заволжанами за душевную широту и добросердечие. Шлем покорителя Сибири у скульптора и в самом деле получился несколько похожим на монашеский клобук, что и привело бедного брата Антипу, незнакомого с нашими новшествами, в суеверное заблуждение.

Это еще что! Прошлой осенью капитан буксира, тянувшего за собой баржи с астраханскими арбузами, выплыв из-за излучины и увидев над кручей пучеглазого истукана, с перепугу посадил всю свою флотилию на мель, так что потом по Реке несколько недель плыли зелено-полосатые шары, устремившись в родные широты. И это, заметьте, капитан, а какой спрос с убогого инок?

Объяснив Антипе ошибку и кое-как успокоив его, Митрофаний отправил монаха в епархиальную гостиницу дожидаться решения его участи. Ясно было, что возвращать беглеца к суровому ново-араратскому архимандриту невозможно, придется приискать место в какой-нибудь иной обители.

Когда же епископ и его духовная дочь остались наедине, владыка спросил:

– Ну, что думаешь про сию нелепицу?

– Верю, – без колебания ответила Пелагия. – Я смотрела брату Антипе в глаза, он не лжет. Описал, как видел, и ничего не прибавил.

Преосвященный задвигал бровями, подавляя неудовольствие. Сдержанно произнес:

– Ты это нарочно сказала, чтоб меня подразнить. Ни в каких призраков ты не веришь, уж мне ль тебя не знать.

Однако тут же спохватился, что попал в ловушку, расставленную лукавой помощницей, и погрозил ей пальцем:

– А, это ты в том смысле, что он сам верит в свои бредни. Примерещилось ему нечто, по-научному именуемое галлюцинацией, он и принял за подлинное событие. Так?

– Нет, отче, не так, – вздохнула монахиня. – Человек это простой, не вздорный, или, как сказано в письме, «к суетным мечтаниям не расположенный». У таких людей галлюцинаций не бывает – слишком мало фантазии. Я думаю, ему воистину явился некто и говорил с ним. И потом, не один Антипа этого Черного Монаха видел, есть ведь другие очевидцы.

Терпение никогда не входило в число достоинств губернского архиерея, и, судя по багровой краске, залившей высокий лоб и щеки Митрофания, теперь оно было исчерпано.

– А про взаимное внушение, примеры которого в монастырях столь нередки, ты позабыла? – взорвался он. – Помнишь, как в Мариинской обители сестрам стал

бес являться: сначала одной, потом другой, а после и всем прочим? Расписывали его во всех подробностях и слова пересказывали, которых честным инокиням узнать неоткуда. Сама же ты и присоветовала тогда нервно-психического врача в монастырь послать!

– То было совсем другое, обычная женская истерика. А тут свидетельствуют опытные старцы, – возразила монахиня. – Непокойно в Новом Арарате, добром это не кончится. Уже и до Заволжска слухи про Черного Монаха дошли. Надо бы разобраться.

– В чем разбираться-то, в чем?! Неужто ты вправду в привидения веришь? Стыдись, Пелагия, суеверие это! Святой Василиск уж восемьсот лет как преставился, и незачем ему вокруг острова по водам крейсировать, безмозглых монахов стращать!

Пелагия смиренно поклонилась, как бы признавая полное право епископа на гневливость, но в голосе ее смирения было немного, а уж в словах и подавно:

– Это в вас, владыко, мужская ограниченность говорит. Мужчины в своих суждениях чересчур полагаются на зрение в ущерб прочим пяти чувствам.

– Четырем, – не преминул поправить Митрофаний.

– Нет, владыко, пяти. Не все, что есть на свете, возможно уловить зрением, слухом, осязанием, обонянием и вкусом. Есть еще одно чувство, не имеющее названия, которое даровано нам для того, чтобы мы могли ощущать Божий мир не только лишь телом, но и душой. И даже странно, что я, слабая умом и духом черница, принуждена вам это изъяснять. Не вы ли множество раз говорили об этом чувстве и в проповедях, и в частных беседах?

– Я имел в виду веру и нравственное мерило, которое всякому человеку от Бога дано! Ты же мне про какую-то фата-моргану толкуешь!

– А хоть бы и про фата-моргану, – упрямо качнула головой монахиня. – Вокруг и внутри нашего мира есть и другой, невидимый, а может, даже не один. Мы, женщины, чувствуем это лучше, чем мужчины, потому что меньше боимся чувствовать. Ведь вы же, владыко, не станете опровергать, что есть места, от которых на душе светло (там обычно Божьи храмы возводят), а есть и такие, от

которых по душе мурашки? И причины никакой нет, а только ускоришь шаг да еще и перекрестишься. Я всегда вот так мимо Черного Яра пробегала, с ознобом по коже. И что же? На том самом месте пушку и нашли!

Этот аргумент, приведенный Пелагией в качестве неоспоримого, требует пояснения. Под Черным Яром, расположенным в полуверсте от Заволжска, два года тому отрыли клад: старинную бронзовую мортирку, сплошь набитую червонцами и самоцветами, – видно, лежала в земле с тех времен, когда гулял по здешним краям пугачевский «енарал» Чика Зарубин, произведенный самозванцем в графы Чернышевы. То-то, поди, слез и крови пролил, собирая этакое сокровище. (Заметим кстати, что на те самые деньги и на том самом месте возведен великолепный монумент, до полусмерти напугавший брата Антипу.)

Но довод про пушку преосвященного не убедил. Митрофаний только рукой плеснул:

– Ну, про озноб это ты после себе напридумывала.

И препирались так архиерей и его духовная дочь еще долго, так что чуть вовсе не разругались. Поэтому конец спора о суеверии мы опустим и перейдем сразу к его практическому завершению, произошедшему уже не в судебном архиве, а на епископском подворье, во время праздничного чаепития.

* * *

На чаепитие, устроенное назавтра в честь благополучного исхода судебного процесса, преосвященный позвал кроме сестры Пелагии еще одного из своих духовных чад, товарища окружного прокурора Матвея Бенционовича Бердичевского, также причастного к состоявшемуся триумфу справедливости. На столе рядом с самоваром стояла бутылка кагора, а уж сластей было истинное изобилие: и пряники, и цукаты, и всякие варенья, и непременно яблочные зефирки, до которых владыка был великий любитель.

Сидели в трапезной, где на стенах висели копии с двух любимейших Митрофанием икон: чудотворной «Умягчение злых сердец» и малоизвестной «Лобзание Христа Спасителя Иудой», великолепно написанных, в дорогих

серебряных окладах. Поместил их тут преосвященный не просто так, а со значением – в напоминание себе о главном в христианской вере: всепрощении и приятии Господом любой, даже самой подлой души, потому что нет таких душ, для которых не существует совсем никакой надежды на спасение. Об этом, в особенности о всепрощении, архиерей в силу страстности характера был склонен забывать, знал за собой этот грех и стремился преодолеть.

Поговорили об окончившемся процессе, вспоминая разные его повороты и перипетии, потом о грядущем прибавлении в семействе Бердичевского – будущий отец беспокоился из-за того, что ребенок выйдет по счету тринадцатым, а владыка над юристом посмеивался: мол, из вас, выкрестов-неофитов, вечно самые мракобесы получаются, и корил Матвея Бенционовича за суеверие, постыдное для просвещенного человека.

Отсюда, от суеверия, беседа естественным образом повернула на Черного Монаха. Следует отметить, что первым об этом таинственном явлении заговорил не кто-нибудь, а товарищ окружного прокурора, который, как мы помним, при объяснении в архиве не присутствовал и даже вовсе о нем не знал.

Оказалось, что про вчерашнюю гонку, устроенную ново-араратским монахом по улицам, уже говорит весь город. Известно стало и про явление Василиска, и про недобрые предзнаменования. Брат Антипа, нахлестывая лошадей, мало того что переехал кошку влиятельной заволжской жительницы Олимпиады Савельевны Шестаго, но еще и кричал всякие тревожные слова – «Спасайтесь, православные!», «Василиск грядет!» и прочее, а также требовал сообщить, где найти архиерея.

Получалось, что сестра Пелагия давеча была права: без последствий произошедшее оставить невозможно. С этим, остыв после вчерашнего раздражения, преосвященный уже не спорил, но по части принятия мер среди пирующих обнаружилось несогласие.

Все свои многочисленные успехи на архипастырском поприще Митрофаний приписывал Господу, смиренно признавая себя только видимым орудием невидимо действующей Силы, и на словах был совершеннейший фаталист, любил повторять: «Ежели Богу угодно, то непременно сбудется, а если Богу не угодно, то и мне не надобно». Но на деле больше руководствовался максимой «На Бога надейся, а сам не плошай» и, надо сказать, плошал редко, не обременял Господа лишними заботами.

Нечего и говорить, что епископ сразу же загорелся ехать в Новый Арарат сам, чтобы вразумить и пресечь (вероятие какой-либо подлинной мистики допустить он решительно отказывался и видел в Василисковом явлении либо повальное замутнение рассудка, либо чью-то каверзу).

Осмотрительный Матвей Бенционович владыку от поездки отговаривал. Высказывался в том смысле, что слухи – материя трудносмиряемая и опасная. На каждый роток не накинешь платок. Административное вмешательство в подобных случаях дает такой же эффект, как если тушить пожар керосином – только пуще огонь распалить. Предложение Бердичевского было следующее: преосвященному на острова ни в коем случае не плыть и вообще делать вид, будто ничего там особенного не происходит, а потихоньку послать в Новый Арарат толкового и тактичного чиновника, который во всем разберется, найдет источник слухов и представит исчерпывающий доклад. Ясно было, что под «толковым чиновником» Матвей Бенционович имеет в виду себя, являя всегдашнюю готовность забыть обо всех текущих делах и даже семейных обстоятельствах, если может принести пользу своему духовному наставнику.

Что до Пелагии, то, соглашаясь с Бердичевским относительно нецелесообразности архиерейской инспекции, монахиня не видела резона и в откомандировании на острова светского человека, который, во-первых, может не понять всей тонкости монастырского быта и монашеской психологии, а во-вторых... Нет, лучше уж привести этот второй аргумент дословно, чтобы он целиком остался на совести полемистки.

– В вопросах, касающихся непостижимых явлений и душевного трепета, мужчины слишком прямолинейны, – заявила Пелагия, быстро пощелкивая спицами – после третьего стакана чаю она, испросив у владыки позволения, достала вязанье. – Мужчины нелюбопытны ко всему, что им представляется неважным, а в неважном подчас таится самое существенное. Где нужно что-нибудь построить, а еще лучше сломать – там мужчинам равных нет. Если же нужно проявить терпение, понимание, а возможно, и сострадание, то лучше доверить дело женщине.

– Так женщина при виде призрака сразу в обморок бухнется или того пуще истерику закатит, – поддразнил инокиню архиерей. – И не выйдет никакого толку.

Пелагия посмотрела на поползший вкривь и вкось ряд, вздохнула, но распускать не стала – пусть уж будет, как будет.

– Нипочем женщина в обморок не упадет и истерики не устроит, если рядом мужчин нет, – сказала она. – Женские обмороки, истерики и плаксивость – это все мужские выдумки. Вам хочется нас слабыми да беспомощными представлять, вот мы под вас и подстраиваемся. Для дела было бы лучше всего, если б вы, отче, благословили дать мне отпуск недельки на две, на три. Я бы съездила на Ханаан, поклонилась тамошним святыням, а заодно и посмотрела, что за призрак у них там витает над водами. В училище же с моими девочками пока позанимались бы сестра Аполлинария и сестра Амвросия. Одна гимнастикой, другая литературой, и всё отлично бы устроилось...

– Не выйдет, – с видимым удовольствием прервал мечтания духовной дочери преосвященный. – Или ты забыла, Пелагиюшка, что на Арарат монахиням хода нет?

И этим инокине сразу рот закрыл.

В самом деле, по суровому ново-араратскому уставу черницам и послушницам путь на острова был заказан. Постановление это древнее, трехсотлетней давности, но и поныне исполнялось неукоснительно.

Так было не всегда. В старину на Ханаане рядом с мужским монастырем располагалась и женская обитель, только от этого соседства стали происходить всякие соблазны и непотребства, поэтому, когда патриарх Никон, радея о восстановлении чести иноческого сословия, повсеместно устроил монастырские уставы, Ново-Араратскую женскую обитель упразднили и монахиням на Синем озере появляться запретили. Мирянкам на богомолие можно, и многие ездили, а Христовым невестам – нельзя, для них другие святыни есть.

Пелагия, кажется, хотела что-то возразить Митрофанию, но, взглянув на Бердичевского, промолчала. Таким образом дискуссия о Черном Монахе, затеянная триумвиратом умнейших людей Заволжской губернии, зашла в тупик.

Разрешил затруднение, как обычно и случалось в подобных случаях, преосвященный Митрофаний – во всегдашней своей парадоксальной манере. У

владыки была целая теория о полезности парадоксов, которые имеют свойство опрокидывать слишком уж громоздкие построения человеческого разума, тем самым открывая неожиданные и подчас более короткие пути к решению проблематических задач. Архиерей любил взять и огорошить собеседника какой-нибудь неожиданной фразой или невообразимым решением, предварительно приняв вид самой мудрой и строгой сосредоточенности.

Вот и теперь, когда доводы были исчерпаны, не приведя ни к какому выводу, и наступило удрученное молчание, владыка нахмурил белый, в три вертикальные морщины лоб, смежил веки и стал перебирать сандаловые четки своими замечательно белыми и ухоженными пальцами (к рукам Митрофаний относился с подчеркнутой заботливостью и почти никогда не появлялся вне помещения без шелковых перчаток, объясняя это тем, что духовное лицо, прикасающееся к Святым Дарам, должно наблюдать руки как можно уважительней).

Посидев так с минуту, преосвященный снова открыл свои синие глаза, в которых сверкнула искорка, и сказал тоном непререкаемости:

– Алеша поедет, Ленточкин.

Матвей Бенционович и Пелагия только ахнули.

* * *

Даже если нарочно постараться, вряд ли было бы возможно выдумать более парадоксального кандидата для тайной инспекции по деликатнейшему внутрицерковному делу.

Алексей Степанович Ленточкин, которого из-за юности лет и румяной припухлости щек за глаза называли не иначе как Алешей (а многие так и в глаза – он не обижался), появился у нас в городе недавно, но сразу попал в число особенных архиереевых фаворитов.

Для того, впрочем, имелись и вполне извинительные основания, поскольку Алексей Степанович был сыном старинного товарища владыки, который, как известно, до пострига служил кавалерийским офицером. Этот сослуживец Митрофания погиб майором на последней Турецкой войне, оставив вдову с

двумя малютками, дочкой и сыном, и почти безо всяких средств к существованию.

Мальчик Алешенька рос каким-то очень уж смышленным, так что в одиннадцать лет запросто производил интегральные исчисления, а к двадцати сулился выйти прямиком в гении по естественной либо по математической части.

Ленточкины жили не в Заволжске, а в большом университетском городе К., тоже расположенном на Реке, но ниже по течению, так что когда Алеше пришло время определяться на учебу, его не только приняли в тамошний университет безо всякой платы, но даже еще и назначили именную стипендию, чтобы учился и возвращал свой талант во славу родного города. Без стипендии учиться он бы не смог, даже и бесплатно, потому что семья была совсем недостаточная.

К двадцати трем годам, когда до окончания курса оставалось не столь уж далеко, Алексей Степанович окончательно вышел на линию нового Эвариста Галуа или Михаэла Фарадея, что признавали все окружающие и о чем он сам говорил не тушуясь. Однако же кроме большущих способностей юноша обладал еще и огромным самомнением, что не редкость у рано созревших талантов. Был он непочтителен к авторитетам, дерзок, остер на язык и заносчив, что, как известно, тому же Эваристу Галуа помешало достичь зрелого возраста и поразить мир всем блеском своего многосулящего гения.

Нет, Алексея Степановича не застрелили на дуэли, подобно юному французу, но попал и он в историю, вышедшую ему боком.

Однажды он посмел не согласиться с отзывом на свой не то химический, не то физический трактат – отзывом, начертанным рукой самого Серафима Викентьевича Носачевского, светила отечественной науки, а также тайного советника и проректора К-ского университета. В этом отзыве маститый ученый недостаточно восхитился выводами даровитого студента, чем привел Ленточкина в бешенство. Молодой человек приписал к отзыву Носачевского пренахальную ремарку и отослал тетрадь обратно.

Ученый оскорбился ужасно (в ремарке подвергались сомнению сделанные им открытия и вообще ценность вклада его превосходительства в науку) и, применив административную власть, велел наглеца именной стипендии лишить.

Выходка Алексея Степановича, конечно, была возмутительна, но, учитывая молодость и несомненную одаренность студента, Носачевский мог бы обойтись и менее суровой карой. Лишение стипендии означало, что Ленточкину придется из университета уходить и срочно поступать на какую-нибудь службу – хоть счетоводом в парходство, а стало быть, всем великим мечтам конец и могильный крест.

Жестокость проректорова вердикта многие осуждали, некоторые подбивали Алексея Степановича пойти повиниться – мол, Носачевский суров да отходчив, но гордость не позволила. Юноша избрал другой путь, вообразив себя рыцарем, вступившим в единоборство с драконом. И сразил-таки змея смертоносным ударом. Отомстил так, что пришлось господину тайному советнику...

Но не станем забегать вперед. История достойна того, чтобы рассказать ее по порядку.

У Серафима Викентьевича Носачевского имелась одна слабость, известная всему городу, – болезненное сластолюбие. Сей жрец науки, хоть и достиг немалых уже лет, не мог спокойно видеть хорошенькой мордашки или кудрявого завиточка над ушком – разом превращался в козлоногого сатира, причем не делал различия меж приличными дамами и кокотками самого последнего разбора. Если такая безнравственность и была прощаема обществом, то лишь из уважения к корифею К-ской учености, да еще потому, что Носачевский свои эскапады напоказ не выставлял, соблюдал разумную приватность.

Вот в эту-то пядь наш юный Парис его и поразил.

Был Алеша чудо как хорош собой, но не мужественной, а скорее девичьей красотой: кудрявый, густобровый, с пушистыми, изящно загнутыми ресницами, с персиковым пушком на пунцовых щеках – одним словом, из той породы красавчиков, что очень долго не старятся, лет до сорока сохраняя свежий цвет лица и глянцевость кожи, зато потом быстро начинают жухнуть и морщиниться, будто надкушенное и позабытое яблоко.

В свои невеликие годы Алеша казался еще юнее действительного возраста – чистый паж Керубино. Поэтому, когда он нарядился в сестрино выходное платье, нацепил пышный парик, приклеил мушку да подкрасил помадой губы, из него получилась такая убедительная чертовка, что плотоядный Серафим Викентьевич

никак не мог оставить ее без внимания, тем более что соблазнительная девица как нарочно всё прогуливалась близ особняка его превосходительства.

Выслал Носачевский к фланерке камердинера. Тот доложил, что мамзель точно из гулящих, но с большим разбором, по Парижской улице прохаживается не с целью заработка, а для моциона. Тогда сатир велел слуге срочно затянуть себя в корсет, надел атласный жилет и бархатный сюртук в золотистую искорку и отправился вести переговоры самолично.

Чаровница смеялась, стреляла поверх веера блестящими глазками, но идти к Серафиму Викентьевичу отказалась и вскоре удалилась, совершенно закружив ученому мужу голову.

Два дня он никуда не отлучался из дому, всё выглядывал из окна, не появится ли нимфа вновь.

Появилась – на третий. И на сей раз поддалась на уговоры, на посулы сапфирового колечка в придачу к двумстам рублям. Но поставила условие: чтоб кавалер снял в гостинице «Сан-Суси», заведении роскошном, но несколько сомнительном в смысле репутации, самый лучший номер и явился туда на свидание к десяти часам вечера. Счастливый Носачевский на все это согласился и без пяти минут десять, с преогромным букетом роз, уже стучался в дверь заранее снятого апартаментов.

В гостиной горели две свечи и пахло восточными благовониями. Стройная высокая фигура в белом протянула к проректору руки, но тут же со смехом отпрянула и затеяла с изнывающим от страсти Носачевским легкий флирт в виде игривого бегания вокруг стола, а когда Серафим Викентьевич совсем запыхался и попросил пощады, был явлен ультиматум: беспрекословно выполнять все распоряжения победительницы.

Его превосходительство охотно капитулировал, тем более что кондиции звучали соблазнительно: красавица сама разденет любовника и введет его в будуар.

Трепеща от сладостных предвкушений, Носачевский дал легким, стремительным пальцам снять с себя все одежды. Не противился он и когда фантазерка завязала ему глаза платком, надела на голову кружевной чепчик, а ревматическое колено обмотала розовой подвязкой.

– Идем в обитель грез, мой утенок, – шепнула коварная искусительница и стала подталкивать ослепшего проректора в сторону спальни.

Он услышал скрип открывающейся двери, затем получил весьма ощутимый толчок в спину, пробежал несколько шагов и чуть не упал. Створка сзади захлопнулась.

– Пупочка! – недоуменно позвал Серафим Викентьевич. – Лялочка! Где же ты?

В ответ грянул дружный хохот дюжины грубых глоток, и нестройный хор завопил:

К нам приехал наш любимый

Серафим Викентьич да-ра-гой!

И после, уже совсем безобразно, с мяуканьем и подвыванием:

Сима, Сима, Сима,

Сима, Сима, Сима,

Сима-Сима-Сима-Сима,

Сима, пей до дна!

Носачевский в ужасе сорвал повязку и увидел, что на бескрайней кровати а-ля Луи-Кенз рядом сидят студенты К-го университета, из самых пьющих и отчаянных, нагло разглядывают непристойную наготу своего попечителя, дуют прямо из горлышка драгоценное шампанское, а фрукты и шоколад уже успели сожрать.

Только теперь несчастному проректору стало ясно, что он пал жертвой заговора. Серафим Викентьевич кинулся к двери и стал рвать ручку, но открыть ее не мог – мстительный Алеша запер изнутри. На улюлюканье и крики через служебную дверь прибежали коридорные, а потом и городской с улицы. В общем, вышел самый отвратительный скандал, какой только можно вообразить.

То есть в официальном отношении никакого скандала не было, потому что конфузную историю замяли, но уже назавтра о «бенефисе» тайного советника со всеми эпатирующими и, как водится, еще преувеличенными подробностями знали и город К., и К-ская губерния.

Носачевский подал в отставку по собственной воле и уехал из К. навсегда, ибо оставаться не было никакой возможности. Посреди самого серьезного, даже научного разговора собеседник вдруг начинал багроветь, раздуваться от сдерживаемого хохота и усиленно прочищать горло – видно, представлял себе проректора не при анненской звезде, а в чепчике и розовой подвязке.

История имела для Серафима Викентьевича и иные печальные последствия. Мало того, что с тех пор он совершенно утратил интерес к прекрасному полу, но еще и начал неавантажнo трясти головой, нервически дергать глазом, да и былой научной блистательности в нем больше не наблюдалось.

Но и шалуну проказа с рук не сошла. Разумеется, все тотчас узнали, кто сыграл с проректором этакую шутку (Алексей Степанович со товарищи не больно-то и таили, чьего авторства сия реприза), и губернское начальство дало бывшему студенту понять, что ему будет лучше переменить место жительства.

Тогда-то безутешная мать и написала нашему преосвященному, моля взять непутевого отпрыска майора Ленточкина в Заволжск под свой пастырский присмотр, приспособить к какому-нибудь делу и отучить от глупостей и озорства.

Митрофаній согласился – сначала в память о боевом товарище, а после, когда познакомился с Алексеем Степановичем поближе, уже и сам был рад такому подопечному.

* * *

Ленточкин-младший пленил строгого епископа бесшабашной дерзостью и полным пренебрежением к своему во всех отношениях зависимому от владыки положению. То самое, чего ни от кого другого Митрофаній ни за что бы не снес – непочтительность и прямая насмешливость, – в Алексее Степановиче владыку не сердило, а лишь забавляло и, возможно, даже восхищало.

Начать с того, что Алеша был безбожник – да не из таких, знаете, агностиков, каких сейчас много развелось среди образованных людей, так что уж кого и ни спросишь, чуть не каждый отвечает: «Допускаю существование Высшего Разума, но полностью за сие не поручусь», а самый что ни на есть отъявленный атеист. При первой же встрече с преосвященным на архиерейском подворье, прямо в образной, под лучистыми взорами евангелистов, праведников и великомучениц, между молодым человеком и Митрофанием произошел спор о всеведении и милосердии Господа, закончившийся тем, что епископ выгнал богохульника взашей. Но после, когда остыл, велел снова послать за ним, напоил бульоном с пирожками и говорил уже по-другому: весело и приязненно. Приискал молодому человеку подходящую должность – младшего консисторского аудитора, определил на квартиру к хорошей, заботливой хозяйке и велел бывать в архиерейских палатах запросто, чем Ленточкин, не успевший обзавестись в Заволжске знакомствами, пользовался безо всяких церемоний: и трапезничал, и во владычьей библиотеке часами просиживал, и даже подолгу болтал перед Митрофанием о всякой всячине. Очень многие почли бы за великое счастье послушать речи епископа, чья беседа была не только назидательна, но и в высшей степени усладительна, Ленточкин же все больше разглагольствовал сам – и Митрофаний ничего, не пресекал, а слушал с видимым удовольствием.

Произошло это сближение вне всякого сомнения из-за того, что среди всех человеческих качеств владыка чуть ли не самые первые места отводил остроте ума и неискренности, а Ленточкин обладал этими характеристиками в наивысшей степени. Сестра Пелагия, которая с самого начала невзлюбила Алексея Степановича (что ж, ревность – чувство, встречающееся и у особ иноческого звания), говорила, что Митрофаний благоволит к мальчишке еще и из духа соревновательности – хочет расколоть сей крепкий орешек, пробудить в нем Веру. Когда монахиня уличила владыку в суетном честолюбии, тот не стал спорить, но оправдался, говоря, что грех это небольшой и отчасти даже извиняемый Священным Писанием, ибо сказано: «Глаголю вам, яко тако радость будет на небеси о едином грешнике кающемся, нежели о девяностах и девяти праведник, иже не требуют покаяния».

А нам думается, что кроме этого похвального устремления, имеющего в виду спасение живой человеческой души, была еще и психологическая причина, в которой преосвященный скорее всего сам не отдавал себе отчета. Будучи по своему монашескому званию лишен сладостного бремени отцовства, Митрофаний все же не вполне изжил в себе соответствующий эмоциональный отросток сердца, и если Пелагия до известной степени стала ему вместо дочери, то вакансия сына до появления Алексея Степановича оставалась незанятой.

Проницательный Матвей Бенционович, сам многодетный и многоопытный отец, первым обратил внимание сестры Пелагии на возможную причину необычайной расположенности преосвященного к дерзкому юнцу и, хоть в глубине души был, конечно, уязвлен, но нашел в себе достаточно иронии, чтоб пошутить: «Владыка, может, и рад бы был меня в сыновьях держать, но ведь тогда пришлось бы в придачу дюжину внуков принимать, а на такой подвиг мало кто отважится».

Находясь в обществе друг друга, Митрофаний и Алеша более всего напоминали (да простится нам столь непочтительное сравнение) большого старого пса с задиристым кутенком, который, резвясь, то ухватит родителя за ухо, то начнет на него карабкаться, то цапнет мелкими зубками за нос; до поры до времени великан сносит сии приставания безропотно, а когда щенок слишком уж разбоится, слегка рыкнет на него или прижмет к полу мощной лапой – но легонько, чтоб не сокрушить.

На следующий день после знаменательного чаепития епископу пришлось уехать по неотложному делу в одно из отдаленных благочиний, но своего решения Митрофаний не забыл и сразу по возвращении вызвал Алексея Степановича к себе, а еще прежде того послал за Бердичевским и Пелагией, чтобы объяснить им свои резоны уже безо всякой парадоксальности.

– В том чтоб именно Ленточкина послать, обоюдный смысл имеется, – сказал владыка своим советчикам. – Во-первых, для дела лучше, чтобы химерами этими занялась не какая-нибудь персона, тяготеющая к мистицизму, (тут преосвященный покосился на духовную дочь) а человек самого что ни на есть скептического и даже материалистического миропонятия. По складу своего характера Алексей Степанович склонен во всяком непонятном явлении докапываться до сути и на веру ничего не принимает. Умен, изобретателен, да и весьма нахален, что в данном случае может оказаться кстати. А во-вторых, – Митрофаний воздел палец, – полагаю, что и для самого посланного эта миссия будет небесполезна. Пусть увидит, что есть люди – и многие, кому духовное дороже плотского. Пусть подышит чистым воздухом святой обители. Там в Арарате, я слышал, воздух особенный: вся грудь звенит от восторга, будто выдыхаешь из себя скверное, а вдыхаешь райскую амброзию.

Архиерей потупил взор и присовокупил тише, словно нехотя:

– Мальчик-то он живой, пытливый, но в нем стержня нет, который человеку единственно Вера дает. Кто умом поскуднее и чувствами потусклее, может,

пожалуй, и так обойтись – проживет как-нибудь, а Алеше без Бога прямая гибель.

Бердичевский с Пелагией тайком переглянулись и по разом возникшему молчаливому уговору возражать владыке не стали – это было бы неуважительно, да и жестоко.

А вскоре явился и Алексей Степанович, не подозревавший о том, какие дальние виды составил на него владыка.

Поздоровавшись с присутствующими, Ленточкин тряхнул каштановыми кудрями, доходившими чуть не до плеч, и весело поинтересовался:

– Что это вы, Торквемада, всю свою инквизицию созвали? Какую такую муку для еретика удумали?

Говорим же, острейшего ума был юноша – сразу сообразил, что собрание неспроста, да и особенное выражение лиц тоже приметил. А что до «Торквемады», то это у Алексея Степановича такая шутка была – называть отца Митрофания именем какой-нибудь исторической персоны духовного звания: то кардиналом Ришелье, то протопопом Аввакумом, то еще как-нибудь в зависимости от поворота беседы и настроения епископа, в котором и вправду можно было обнаружить и государственный ум французского дюка, и неистовую страстность раскольников мученика, да, пожалуй, и грозность кастильского истребителя скверны.

Митрофаний на шутку не улыбнулся, с нарочитой сухостью рассказал о тревожных явлениях в Новом Арарате и без лишних слов разъяснил молодому человеку смысл поручения, закончив словами:

– По должностной инструкции консисторский аудитор не только бухгалтерией ведает, но и прочими епархиальными делами, требующими особенной проверки. Вот и езжай, проверяй. Я на тебя полагаюсь.

Историю про блуждающего по водам Черного Монаха Алексей Степанович вначале слушал с недоверчивым удивлением, будто опасался, что его разыгрывают, и даже два раза вставил язвительные ремарки, но потом понял, что разговор серьезный, и комиковать перестал, хоть по временам не без

игривости задирает бровь кверху.

Дослушав, помолчал, покачал головой и, кажется, отлично понял «обоюдность» резонов, стоявших за неожиданным решением покровителя.

Алексей Степанович улыбнулся пухлыми губами, отчего на румяных щеках образовались славные ямочки, и восхищенно развел руками:

– Ну, вы и хитрец, епископ Отенский. Единым махом двух лапенов побиваю? Желаете знать мое мнение про эти ваши мистерии? Я так думаю, что...

– «Я» – последняя буква алфавита, – перебил мальчишку преосвященный, которому сравнение с Талейраном понравилось еще меньше, чем уподобление великому инквизитору.

– Зато «аз» – первая, – бойко огрызнулся Ленточкин.

Митрофаний нахмурился, давая весельчаку понять, что тот заходит чересчур далеко.

Перекрестил юношу, тихо молвил:

– Поезжай. И да хранит тебя Господь.

Часть первая

Ханаанские экспедиции

Экспедиция первая

Приключения насмешника

Алексей Степанович собирался недолго и уже на второй день после разговора с преосвященным отбыл в свою секретную экспедицию, получив строжайшее указание посылать реляции не реже чем раз в три дня.

Дорога до Нового Арарата с учетом ожидания парохода в Синеозерске и последующего плавания занимала дня четыре, а первое письмо пришло ровно через неделю, то есть выходило, что, несмотря на весь свой нигилизм, Алеша – порученец надежный, в точности исполняющий предписанное.

Владыка был очень доволен и такой пунктуальностью, и самим отчетом, а более всего тем, что не ошибся в мальчугане. Призвал к себе Бердичевского и сестру Пелагию, прочитал им послание вслух, хоть временами и морщился от невозможной разухабистости стиля.

* * *

Первое письмо Алексея Степановича

Достославному архиепископу Турпену от верного паладина, посланного сражаться с чародеями и сарацинами

О пастырь многомудрый и суровый,

Гроза закоренелых суеверий,

Светило веры и добротолюбья,

Защитник сирых и гонитель гордых!

К твоим стопам смиренно повергаю

Я свой рассказ простой и безыскусный.

Аой!

Когда, трясяся на возке скрипучем,

Влачил я Заволжским королевством

И сосчитал на сем пути прискорбном
Колдобины, а также буераки
Числом пятнадцать тысяч сто один,
Не раз о вашем я преосвященстве
Помыслил нехорошее и даже
Кошунственное нечто восклицал.
Аой!

Но лишь вдали под солнцем засверкало
Зерцало вод священна Синя Моря,
Сраженный сим пленительным пейзажем,
О тяготах я сразу позабыл
И, помолясь, на пыхающий дымом
Корабль переместился белоснежный,
Что в память Василиска наречен.
Аой!

И долгой ночью, лунной и холодной,
Я зяб под худосочным одеялом.
Когда же вежды я сомкнуть пытался,
Немедленно вторгались в сон мой чуткий
Диковинная ругань капитана,
Матросов богомольных песнопенья
И колокола звон почасовой.

В общем, если перейти от утомительного стихосложения на отрадную прозу, на ново-араратский причал я сошел невыспавшимся и злым, как черт. Ой, простите,

отче, – само написалось, если же вымарывать, то получится неаккуратно, а вы этого не любите, так что черт с ним, с чертом, passons.[1 - пропустим (фр.)]

По правде сказать, кроме корабельных шумов мне еще не давала уснуть книга, которую вы на прощанье подложили в корзинку с несравненными архиерейскими ватрушками, невиннейше присовокупив: «Ты на название, Алеша, не смотри и не пугайся, это не духовное чтение, а романчик – чтоб тебе время в дороге скоротать». О, коварнейший из жрецов вавилонских!

Название – «Бесы» – и изрядная толщина «романчика» меня, действительно, напугали, и читать его я взялся лишь на пароходе, под плеск волн и крики чаек. За ночь прочел до половины и, кажется, понял, к чему вы подсунули мне сей косноязычный, но вдохновенный трактат, прикидывающийся беллетристикой. Разумеется, не из-за бессмысленного проходимца Петруши Верховенского и его карикатурных товарищей-карбонариев, а из-за Ставрогина, в примере которого вы, должно быть, видите для меня смертельную опасность: заиграться юберменшеством, да и превратиться в горохового шута или, по вашей терминологии, «погубить свою бессмертную душу».

Мимо цели, *emīnence*. [2 - ваше преосвященство (фр.)] У нас с байроническим господином Ставрогиным имеется принципиальное различие. Он безобразничает оттого, что в бога верует (так и вижу, как вы нахмурили свой лоб на этом месте – ну хорошо, пускай будет «в Бога»), и обижается: как же это Ты на меня, шалуна, Своего отеческого взора не обращаешь, не пожuriшь, ножкой не притопнешь. А я еще вот что натворю, да еще вот как напакощу. Ау! Где Ты? Проснись! Не то гляди – воображу, будто Тебя нет вовсе. Ставрогину среди обычных людей скучно, ему наивысшего Собеседника подавай. Я же, в отличие от растлителя девочек и соблазнителя идиотов, ни в Бога, ни в бога не верю и на том стою твердо. Мне общества людей совершенно достаточно.

Ваш прежний литературный намек был повернее, это когда вы мне на день ангела сочинение графа Толстого «Война и мир» презентовали. На Болконского я больше похож – конечно, не в отношении барства, а по интересу к бонапартизму. Мне вот двадцать четвертый год, а Тулона что-то не видно, даже и в отдаленной перспективе не предполагается. Только у князька столь непомерное честолюбие развилось от сытости и блазированности, ведь все мыслимые пряники Фортуны – знатность, богатство, красота – достались ему запросто, по праву рождения, так что ничего иного кроме как стать всенародным кумиром ему и желать уже не оставалось. Я же, напротив, происхожу из сословия полуголодного и

завистливого, что, кстати говоря, роднит меня с Наполеоном куда больше, чем толстовского аристократа, и повышает мои шансы на императорскую корону. Шутки шутками, но сытому в Бонапарты труднее вскарабкаться, чем голодному, ибо наполненный желудок располагает не к юркости, но к философствованию и мирной дреме.

Впрочем, я заболтался. Вы ждете от меня не разглагольствований о литературе, а шпионского донесения о вашей вотчине, охваченной смутой.

Спешу успокоить ваше святейшество. Как это обычно бывает, неблагополучная местность издалека смотрится куда страшнее, чем вблизи. Сидючи в Заволжске, можно вообразить, будто в Новом Арарате все только и говорят, что о Черном Монахе, обычное же проистечение жизни полностью месмеризовано.

Ничего подобного. Жизнь тут пульсирует и побулькивает оживленней, чем в вашей губернской столице, а про святого Вурдалака, то есть, entschuldigen,[3 - прошу прощения (нем.)] Василиска я никаких пересудов пока не слышал.

Новый Арарат меня поначалу разочаровал, ибо в утро прибытия над озером повисли тучи, излившиеся на острова мерзким холодным дождем, и с палубы парохода я увидел ландшафт цвета «мокрая мышь»: серые и скользкие колокольни, ужасно похожие на клистирные трубки, да унылые крыши городка.

Памятуя о том, что все мои расходы будут оплачены из ваших сокровищниц, я велел носильщику отвести меня в самую лучшую местную гостиницу, которая носит гордое название «Ноев ковчег». Ожидал увидеть нечто бревенчатое, постно-лампадное, где, как и положено в Ноевом ковчеге, из всякого скота и из всех гадов будет по паре, но был приятно удивлен. Гостиница устроена совершенно на европейский манер: номер с ванной, зеркалами и лепниной на потолке.

Среди постояльцев большинство составляют петербургские и московские барыньки платонического возраста, но вечером в кофейне первого этажа я увидел за столиком такую Принцессу Грезу, какие в тихом Заволжске не водятся. Не знаю, бывало ли такое во всемирной истории отношений между полами, но я влюбился в прекрасную незнакомку прямо со спины, еще до того, как она повернулась. Представьте себе, благочестивый пастырь, тонкую фигурку в бонтоннейшем платье черного шелка, широкую шляпу со страусиными

перьями и нежную, гибкую, ослепительную в своем совершенстве шею, похожую на суживающуюся кверху алебастровую колонну.

Почувствовав мой взгляд, Принцесса обернулась в профиль, который я разглядел не вполне отчетливо, поскольку лицо ее высочества было прикрыто дымчатой вуалеткой, но достало и того, что я увидел: тонкий, с едва заметной горбинкой нос, влажно блеснувший глаз... Вы знаете эту женскую особенность (ах, да, впрочем, откуда, с вашим-то целибатом!) обзирать боковым зрением, не очень-то и поворачиваясь, широчайший сектор прилегающей местности. Мужчине пришлось бы и шею, и плечи развернуть, а этакая прелестница чуть скосит глазом и вмиг всё нужное узрит.

Уверен, что Принцесса разглядела мою скромную (ну хорошо – пусть нескромную) особу во всех деталях. И отвернулась, заметьте, не сразу, а сначала легким движением коснулась горла и только потом уже снова повернула ко мне свой царственный затылок. О, как много означает этот жест, этот произвольный взлет пальчиков к источнику дыхания!

Ах да, забыл упомянуть, что красавица сидела в кофейне одна – согласитесь, это не совсем принято и тоже меня заинтриговало. Возможно, она кого-то ждала, а может быть, просто смотрела в окно, на площадь. Воодушевленный пальчиками, моими тайными союзниками, я бросил все свои математические способности на то, чтоб найти решение задачи: как бы поскорей свести знакомство с сей ново-араратской Цирцеей, но не успел вычислить сей интеграл. Она вдруг порывисто встала, уронила на стол серебряную монетку и быстро вышла, метнув на меня из-под вуалетки еще один угольно-черный взгляд.

Кельнер сказал, что эта дама бывает в кофейне часто. Значит, у меня еще будет шанс, подумал я и от нечего делать стал воображать всякие соблазнительные картины, про которые вам как особе духовного звания знать необязательно.

Лучше поделюсь своими впечатлениями от острова.

Ну и в странное же место вы меня отправили, ребе. Центральную площадь, где расположена гостиница, будто вырезали ножницами из какого-нибудь Баден-Бадена: ярко покрашенные каменные дома в два и даже три этажа, прогуливается чистая публика, вечером светло, почти как днем. Повсюду самые что ни на есть мирские и даже, я бы сказал, суетные заведения с

невообразимыми названиями: мясоедная ресторация «Валтасаров пир», парикмахерская «Далила», сувенирная лавка «Дары волхвов», банковская контора «Лепта вдовицы» и прочее подобное. Но пройдешь от площади всего несколько минут и словно попадаешь на берега Невы вскоре после основания нашей чахоточной столицы, году этак в 1704-м: бегают рабочие с тачками, забивают в болотистую землю столбы, пилят бревна, роют ямы. Все бородатые, в черных рясах, но с засученными рукавами и в клеенчатых фартуках, просто живое осуществление революционной мечты – принудить паразитическое клерикальное сословие к общественно полезному труду.

По несколько раз на дню, в самых неожиданных местах, встречаешь повелителя всей этой муравьиной рати архимуравья Виталия Второго (sic!), который и вправду похож на Петра Великого: долговязый, грозный, стремительный, шагает так широко, что ряса пузырем надувается и свита сзади еле поспевает. Не поп, а ядро, которым выпалили из пушки. Вот бы вас, инок Пересвет, против него на прямую наводку вывести да посмотреть, кто кого одолеет. Я бы, наверное, все равно на вас поставил – архимандрит, может, и поскорострельней, да у вас калибр покрупнее.

Здесь на островах, кажется, научились небывалому на Руси искусству производить деньги из всего и даже из ничего. У нас ведь обыкновенно наоборот бывает: чем больше золотой руды или алмазов под ногами валяется, тем разорительней убытки, а тут Виталий надумал негодную каменистую землю на Праведническом мысу к делу приспособить, и сразу же обнаружилось, что камни там не обыкновенные, но священные, ибо окроплены кровью святых мучеников, которых там прикончили триста лет назад рейтары шведского графа Делагарди. У камней и правда цвет красно-бурый, но, полагаю, не от крови, а вследствие вкраплений марганца. Впрочем, это неважно, а важно то, что паломники ныне сами от валунов куски откалывают и с собой увозят. Стоит там особый монах с киркой и весами. Хочешь киркой попользоваться – плати пятиалтынный. Хочешь святой камень с собой унести – взвесь и бери, по девяносто девять копеек фунт. Так у Виталия негодный участок потихоньку очищается, и монастырской казне выгода. Каково удумано?

Или вот вода. Целая рота монахов разливает здешнюю колодезную воду по бутылкам, закрывает крышками, наклеивает этикетки «Ново-араратская святительская влага, благословлена высокопреподобным о. Виталием», после эту H₂O оптовым образом переправляют на материк – в Питер и особенно в богомольную Москву. А в Арарате для удобства паломников выстроено чудо

чудное, диво дивное, называется «Автоматы со святой водой». Стоит деревянный павильон, и в нем хитроумные машины, изобретение местных Кулибиных. Опускает человек в прорезь пятак, монета падает на клапан, заслоночка открывается, и наливается в кружку священная влага. Есть и подороже, за гривенник: там подливается еще малиновый сироп, какого-то особенного «тройного благословения». Говорят, летом туда очередь стоит, а мне не повезло – с середины осени павильон закрывают, чтоб хитрая техника не поломалась от ночных заморозков. Ничего, рано или поздно Виталий додумается внутрь паровую машину для обогрева поставить, тогда будут ему автоматы и зимой плодоносить.

Это еще что! Несколько десятин самой лучшей загородной земли архимандрит уступил под частную психическую лечебницу, за что получает не то пятьдесят, не то семьдесят тысяч ежегодно. Владеет сим скорбным заведением некий Донат Коровин, из тех самых Коровиных, которым принадлежит половина уральских рудников и заводов. Кузены доктора, стало быть, сосут кровь и пот из братьев во Христе, а Донат Саввич, напротив, врачует израненные души. Правда, говорят, принимает в свою чудесную больницу лишь немногих избранных, чье сумасшествие эскулапу-миллионщику представляется интересным с научной точки зрения.

Видел я его лечебницу. Ни стен, ни запоров, сплошь лужайки, рощицы, кукольные домики, пагодки, беседочки, пруды с ручейками, оранжереи – райское местечко. Хотел бы я этак вот полечиться недельку-другую. Метода у Коровина самая что ни на есть передовая и для психиатрии даже революционная. К нему из Швейцарии и, страшно вымолвить, самой Вены поучиться ездят. Ну, может, не поучиться, а так, полюбопытствовать, но все равно ведь лестно.

Революционность же состоит в том, что своих пациентов Коровин держит не взаперти, как это издавна принято в цивилизованных странах, а на полной воле, гуляй где хочешь. Это придает ново-араратской уличной толпе особенную пикантность: поди-ка разбери, кто из встречаемых нормальный человек, приехавший на острова помолиться, очиститься душой и попить святой водички, а кто сумасброд и коровинский клиент.

Иногда, правда, ломать голову не приходится. К примеру, не успел я сойти с парохода, как ко мне приблизился колоритнейший типаж. Вообразите бороденку пучком при полностью обритых усах, под мышкой закрытый зонт (а, напомним,

брызгал пакостный ледяной дождик), беретка стиля «Доктор Фауст», на длинном носу – огромные очки с толстенными фиолетовыми стеклами.

Сей Фауст или, вернее, капитан Фракасс уставился на меня с самым бесцеремонным видом, покрутил какие-то металлические рычажки на оправе своих окуляров и пробормотал до чрезвычайности встревоженным тоном: «Ай-ай. Грудная клетка – холодная серо-зеленая гамма, лоб – горячая, пунцовая. Очень, очень опасно. Берегитесь своего рассудка». Потом повернулся к моему соседу по каюте, пухлому господину из московских присяжных поверенных, и тоже сказал ему гадость: «А у вас бурая эманация от левого мозгового полушария. Не пейте вина и не ешьте жирного, иначе познакомитесь с господином Кондратием». Адвокат в Арарате не впервые, ездит полакомиться свежекопченными сигами и монастырской клюквенной, попить святой желудочной водички и подышать воздухом. Гостиница «Ноев ковчег» – его рекомендация. К странному пророчеству фиолетового Фракасса мой чичероне отнесся с полнейшей невозмутимостью и объяснил мне про психическую лечебницу, прибавив: «Вы, мсье Ленточкин, не пугайтесь, буйных Донат Саввич у себя не держит».

В тот же день, обедая в grill-кухмистерской «Всесожжение», я разговорился с одним любопытным субъектом, тоже имеющим касательство к коровинской клинике. Вы знаете мою теорию о том, что подкреплять организм калориями, в то время как глаза и мозг ничем не заняты, – пустая трата времени, посему я вкушал жареного судака, не отрывая глаз от вашего романа. Вдруг подходит к моему столику некий человек самой благородной наружности и говорит: «Извините, сударь, что отрываю вас от двойного удовольствия поглощения пищи телесной и духовной, но я заметил на корешке имя писателя. Это ведь вы сочинение господина Достоевского читаете?» Простота обращения искупалась такой приятной, обезоруживающей улыбкой, что рассердиться не было никакой возможности. «Да, – отвечаю, – это роман „Бесы“. Не читали?» Тут он весь прямо задрожал, препотешно задергал щекой. «Нет, – говорит, – не читал, но много про него слышал. Здесь на острове есть библиотека и книжный магазин, но архимандрит светских книг продавать не благословляет. Он, конечно, по-своему совершенно прав, но так не хватает хороших романов и новых пьес».

Слово за слово, разговорились. Он присел за мой стол и вскоре уже рассказывал историю своей жизни, довольно необычную. Звать его Лев Николаевич, и по всему видно, что человечек славный, мухи не обидит и ни о ком дурного не скажет. Я сам-то, как вы знаете, не таков и постников не люблю, но этот самый

Лев Николаевич меня чем-то расположил.

Он сразу и честно признался, что прежде жил в коровинской больнице, куда был привезен из Санкт-Петербурга в тяжелейшем, почти невменяемом состоянии после каких-то ужасных потрясений, воспоминания о которых полностью истерлись из его памяти. Доктор говорит, что так оно и к лучшему, нечего старое ворошить, а надобно строить жизнь заново. Теперь Лев Николаевич совсем выздоровел, но уезжать с Ханаана не хочет. И к Коровину привязался, и мира боится. Так и сказал: «Мира боюсь – не подломил бы опять. А здесь тихо, покойно, Божья красота и все люди очень хорошие. Чтоб на большой земле жить, нужно силу иметь – такую силу, с которой можно всю тяжесть мира на себя принять и не согнуться. Велик тот, кто может повторить за Иисусом: „Иго мое благо, и бремя мое легко есть“. Но сказано ведь и так: „Не должно возлагать на слабого бремена неудобноносимые“. Я слаб, мне лучше жить на острове». Он вообще типаж оригинальный, этот бывший петербуржец. Вот бы вам с ним потолковать, вы бы друг другу понравились. А рассказываю я вам про Льва Николаевича потому, что «Бесы» ваши теперь у него. Так и не узнаю, чем там у Верховенского заговор закончился. Жалко, конечно, но больно жадно Лев Николаевич на книжку смотрел – видно было, что хочет попросить, да не осмеливается. Ну, я ему и отдал. Все равно мне чтением романов заниматься недосуг, я же прислан сюда экзорцистом от Священной Инквизиции.

Вы, шейх-уль-ислам, не думайте, что я тут только по ресторанам и кофейням рассиживаю да на Принцесс Грез глазею (о прелестная, где ты?). Я уже весь Ханаан облазил, а Окольный остров со всех сторон в бинокль обсмотрел – чуть из лодки в воду не сверзся. Видел всех трех отшельников, как они из норы своей вылезают и моцион делают. В три погибели согнуты, еле ковыляют – не люди, кроты какие-то. Могу похвастаться: схиигумен (у него по краю куколя белая кайма) удостоил меня своим святейшим вниманием – клюкой погрозил, чтоб близко не подплывал.

Как я разузнал, зовут главного крота отец Израиль, и биографии он самой что ни на есть интригующей. До пострижения был богатым и праздным барином из тех, что от безделья и блазириванности выдумывают себе какое-нибудь hobby, отдаются прихоти со всей страстью и тратят на нее всю свою жизнь и состояние. Этот избрал себе увлечение не столь редкое, но из всех возможных самое затягивающее – коллекционировал женщин, и такой был по этой части ходок, что один отставной проректор из моих прежних знакомцев против него показался бы истинным серафимом. Любознательность сего новоявленного Дон

Гуана была столь ненасытима, что он якобы даже составил географический атлас сравнительной женской анатомии, для чего ездил в специальные сладострастные вояжи по разным странам, в том числе и экзотическим вроде Аннама, Гавайского королевства или Черной Африки. А сколько он совратил добропорядочнейших матрон и перепортил неприступнейших девиц в пределах нашего православного отечества, и исчислить невозможно, потому что обладал неким особенным талантом заколдовывать женские сердца. Тут ведь еще и репутация важна. На иного мухортика дамы и не взглянули бы, но стоит разнести вести, что он опасный соблазнитель, и в нем враз сыщут что-нибудь привлекательное и даже неотразимое: глаза, или руки, или, если уж совсем ничего выдающегося нет, придумают какую-нибудь магнетическую ауру.

Эх, это я от зависти брюзжу. Недурно бы этак пожить, как старец Израиль: прокуролесить все сочные годы, а как приестся да здоровьишко поистаскается, кинуться бессмертную душу спасти – да с такой же страстью, с какой прежде грешил. Только у схиигумена больно великий должок перед Небесным Заимодавцем образовался, уже два года сидит Израиль в этой райской прихожей, шестерых сожителей схоронил, а все никак не расплатится. Говорят, за восемьсот лет никто еще на Окольном острове так долго не заживался – вот какой это великий грешник.

На сем заканчиваю предписанные речи и призываю на твой светonosный лик, о повелитель, благословение Аллаха.

Раб лампы Алексей Ленточкин.

P.S. Ну а теперь, когда вы уж совсем решили, что в этом письме я буду лишь развлекать вас болтовней о здешних курьезностях, перейду собственно к делу.

Знайте же, мудрейший из мудрейших, что разгадка ребуса о вашем Черном Монахе у меня почти что в кармане. Да-да. И разгадка эта, кажется, получится прекомичной. То есть мне уже понятно, в чем состоит сам фокус, неясно лишь, кто это забавляется разыгрыванием Василиска и с какой целью, но ответ на эти вопросы я раздобуду нынче же, потому что по всем приметам ночь будет лунная.

Распорядок этих трех дней у меня был такой: утром я подолгу спал, потом пускался в сухопутные и мореплавательные экспедиции, а по наступлении

темноты садился в засаду на Постной косе, что вытянута в сторону Окольного острова. Никаких сверхъестественных событий не наблюдал, но это, вероятно, оттого, что ночи были вовсе безлунные, черные, а святой, как известно, предпочитает небесную иллюминацию. От нечего делать я попрыгал с камня на камень, поплавал взад-вперед на качайке (это такая лодчонка местной конструкции, взятая мною в аренду у одного местного жителя) – хотел понять, не возможно ли пристроиться на каком-нибудь из валунов так, чтоб казалось, будто стоишь на воде. Пристроиться-то очень даже возможно, но вот перемещаться, даже на два-три шага, никак нельзя, в этом я совершенно убедился и стал склоняться к тому, что монахи с перепугу водохождение нафантазировали. Но на третью ночь, то есть вчера, обнаружилось одно пикантнейшее обстоятельство, которое всё разъяснило. Но молчание, молчание. Более ни слова.

Эффектней будет, когда я опишу вам всю подоплеку целиком, и произойдет это не далее как завтра. Через два часа, как стемнеет и взойдет луна, я отправляюсь на поединок с призраком. А поскольку битва с потусторонним миром чревата гибелью или, на самый лучший исход, помрачением рассудка, предусмотрительно отправляю это свое письмо с вечерним пакетботом. Томитесь теперь до завтрашней почты, архиепископ Реймский, изнывайте от любопытства и нетерпения.

Мечом перепоясавшись булатным
И облачившись в верную кольчугу,
На бой с непобедимым великаном
Сбирается воитель дерзновенный.
И если суждено ему в сраженьи
Свою лихую голову сложить,
Молитвой помяни его, владыко,
А ты, Принцесса Греза из кофейни,
Слезами труп героя ороси.
Аой!

* * *

Вот какое это было письмо. Поначалу Матвей Бенционович и Пелагия слушали с улыбкой – их развеселило уподобление преосвященного реймсскому архиепископу Турпену, неустоимому истребителю мавров и соратнику Роланда Ронсевальского. К концу же пространной эпистолы выражение лиц у монахини и товарища прокурора сделалось озадаченным, и Бердичевский даже обозвал интересничающего Алексея Степановича «стервецом». Порешили не поддаваться на Алешину провокацию и ни в какие предположения относительно загадочных намеков, содержащихся в постскриптуме, не пускаться, а дожидаться завтрашней ново-араратской корреспонденции и тогда уж всё обсудить в подробностях.

Но в почте, прибывшей на следующий день, письма от Ленточкина не было. Не пришло оно ни во второй день, ни в третий, ни в четвертый. Преосвященный встревожился до чрезвычайности и стал думать, не отписать ли отцу Виталию о пропавшем эмиссаре, а если не сделал этого, то лишь из-за неудобства: пришлось бы признаться архимандриту, что Алексей Степанович был послан в Арарат тайком от настоятеля.

На седьмой день, когда осунувшийся, измученный бессонницей Митрофаний уже готовился отправиться на Синее озеро самолично (от страха за Алешу владыке стало не до дипломатических осложнений), письмо наконец пришло, но было оно совсем в ином роде, чем первое. Епископ опять призвал к себе советчиков и прочитал им полученное послание, однако вид имел уже не довольный, как в прошлый раз, а недоуменный. На сей раз не было никаких вступлений или обращений, Алеша сразу переходил к делу.

* * *

Второе письмо Алексея Степановича

Знаю, что задержался с продолжением сверх всякой меры, но тому есть нешуточные основания. Вот именно: нешуточные. Черный Монах – не фокусы какого-нибудь ловкого мошенника, как я предполагал вначале, тут другое. Пока сам не пойму, что именно.

Лучше расскажу в последовательности событий. Во-первых, чтоб не сбиться, а во-вторых, хочется самому разобраться, как всё происходило, что было сначала и что потом. А то голова идет кругом.

Отправив вам предыдущее письмо и плотно поужинав (неужели прошла всего неделя? Кажется, что месяцы или даже годы), я пошел на Постную косу, как на веселый пикник, заранее предвкушая, какую каверзу устрою предполагаемому мистификатору, решившему попугать мирных мнихов. Расположился меж двух больших валунов, на заранее примеченном месте, со всем комфортом. Подстелил прихваченное из гостиницы одеяло, в термосе у меня плескался чай с ромом, в свертке были заготовлены сладкие пирожки из замечательной местной кондитерской «Искушение Св. Антония». Сажу себе, закусываю да посмеиваюсь, ожидая восхода луны. На озере темным-темно, ни лешего (верней, ни водяного) не разглядишь, и только смутно проступает пятно Окольного острова.

Но вот по глади пролегла желтая дорожка, и цвет ночи сделался из монотонно чернильного переливчатым, тьма поджалась, уползла на края неба, а посерединке воссияла луна. И в тот же самый миг прямо передо мною, отчасти загородив бледный диск ночного светила, появился узкий черный силуэт. Готов поклясться чем угодно: только что, секунду назад, его там не было, и вдруг вот он – остроконечный, вытянутый кверху, слегка покачивающийся. И не совсем там, где я ожидал (там из воды едва высовывается плоский камень), а немножко сбоку, где никаких камней нет.

Я в первый миг поразился только этому: откуда он мог взяться? Хоть до восхода луны и темно было, но не так же темно, чтоб я в дюжине шагов человека не разглядел!

По плану, как только покажется «Василиск», я должен был подняться из своего укрытия, в длинном плаще с капюшоном, очень похожем на одеяние схимника, и замогильным голосом взвыть: «Се аз, пресвятыи Василиск! Тьфу на тебя, самозванец!» То-то, думал я, напугаю пугальщика – шлепнется со своего камня в воду.

Но при виде странной черной фигуры, как бы висящей над озером, со мной что-то произошло – причем в самом явственном, физиологическом смысле. Я ощутил необъяснимый холод, разлившийся по всей моей коже, а руки и ноги не то чтобы утратили подвижность (я отлично помню, как поставил термос на землю и

коснулся рукой совершенно ледяного лба), но двигались медленно и с трудом, как под водой. Никогда в жизни ничего подобного не испытывал.

Из-за спины безмолвного силуэта заструился свет, гораздо ярче лунного. Нет, я не сумею этого хорошо описать, потому что «заструился» – неправильное выражение, а как разъяснить лучше, я не знаю. Только что ничего не было, лишь лунное сияние – и вдруг словно озарился весь мир, так что я сощурился и рукой глаза прикрыл.

Я почти оглох от застучавшей в ушах кровяной пульсации, но все равно явственно услышал четыре слова, хотя произнесены они были очень тихо: «Не спасение, но тлен» – и черная фигура указала рукой на Окольный остров. Когда же она двинулась прямо по воде в мою сторону, оцепенение с меня спало, и я самым позорным образом, с криком и, кажется, даже всхлипыванием пустился наутек. Вот какого храброго паладина вы себе выбрали, недалёковидный князь церкви.

Потом, когда добежал до часовни, стало стыдно. Если это все-таки какой-то особенно хитрый розыгрыш, то нельзя допускать, чтоб из меня делали дурака, сказал себе я. А если не розыгрыш... То, значит, Господь Боженька существует, вселенная создана за семь дней, в небе летают ангелы, а небесные светила обращаются вокруг Земли. Поскольку всё это совершенно невозможно, то и Василиска никакого нет. Придя к такому заключению, я весьма решительно зашагал в обратном направлении и вернулся на косу, но ни загадочного сияния, ни черного силуэта там уже не увидел. Громко топая для храбрости и насвистывая песенку про попа, у которого была собака, я прошел по берегу взад и вперед. Окончательно убедил себя в незыблемой материальности мира, подобрал термос и гостиничное имущество, после чего вернулся в «Ковчег».

Но отчета решил не писать, пока не увижу Василиска еще раз и не удостоверюсь либо в том, что это кунштюк, либо в том, что я спятил и мое место в лечебнице у доктора Коровина.

Как назло, две последующие ночи выдались пасмурные. Я гулял по осточертевшим улицам Арарата, пил святую газировку и ямайский кофе, от нечего делать читал всякую ерунду в монастырской читальне. Но третья ночь, наконец, сулила быть лунной, и я с замиранием сердца приготовился снова идти на косу. За время вынужденного безделья я так истерзал себе нервы ожиданием и внутренними спорами, что накануне экспедиции смелость меня почти совсем

оставила. Однако пропускать такой случай было нельзя, и я принял решение, показавшееся мне поистине Соломоновым.

В прошлом письме я уже писал про присяжного поверенного из Москвы, поклонника копченых сигов и свежего воздуха. Фамилия его Кубовский, на Ханаан он приезжает каждую осень, уже в течение нескольких лет. Говорит, ноябрь здесь особенно хорош. Поселились мы в одной гостинице и несколько раз обедали вместе, причем он съедал и выпивал раз в пять больше, чем я (а ведь аппетит у меня недурной, что может засвидетельствовать ваш повар и мой благодетель Кузьма Савельевич). Кубовский – человек трезвого и даже кинического склада мыслей, без какого-либо интереса к сверхъестественному. Он, например, склонен любые проявления человеческой психологии толковать исключительно с точки зрения принятия, переваривания и эвакуации пищи. К примеру, увидит меня в задумчивости по поводу тайны Черного Монаха и говорит: «Э-э, голубчик, это вам нужно остренького поесть, вся меланхолия и пройдет». Или показываю я ему издали романтическую даму, что чуть было не отвлекла меня от вашего задания (ах, Принцесса Греза, до тебя ли мне теперь?), а Кубовский качает головой: «Ишь бледная какая, бедняжка. Поди, кушает плохо, непитательно, а от этого происходит вялость желудка и запоры. Тут севрюжки хорошо с клюквенным сиропом, и после непременно стопулучку итальянской граппы либо французского кальвадоса. Кишечник и оживится». Ну, в общем, вам понятно, что это за субъект. Вот я и придумал: возьму его с собой под предлогом ночного променада, полезного для пищеварения. Во-первых, в компании не так страшно будет, во-вторых, ежели Василиск – галлюцинация, то адвокат ее не увидит, а в-третьих, если тут цирковой трюк, то такого прозаика на мякине не проведешь. Предупреждать своего спутника нарочно не стал – для чистоты опыта.

В том, видно, и заключалась моя ошибка и моя вина.

Всё произошло в точности, как давеча. Я нарочно Кубовского лицом к Окольному острову усадил и сам смотрел не отрываясь на то самое место. Никого там не было, никого и ничего, это несомненно. Но стоило луне пробиться сквозь легкие облака, как на воде появился уже знакомый мне призрак, который почти сразу же окутался ослепительным сиянием.

Голоса на сей раз я не слышал, потому что мой киник – он как раз собирался отправить в рот шоколадную бонбошку – заорал диким голосом и с неожиданным проворством бросился бежать. Я не поспевал за ним (да-да, едва

по коже разлился тот самый омерзительный могильный холод, как я утратил всю свою решимость) и, верно, не догнал бы до самой городской окраины, если бы на середине пути Кубовский вдруг не повалился ничком. Я присел над ним и увидел, что он хрипит, закатывает глаза, намерения вскочить и бежать дальше не проявляет...

Он умер. Не там, на дороге, а уже утром, в монастырском лазарете. Излияние крови в мозг. Иными словами, к присяжному поверенному явился тот самый господин Кондратий, о котором предупреждал фиолетовый Фауст.

Как по-вашему, владыко, кто убил бедного обжору – я или Черный Монах? Даже если и он, то все равно я получаюсь соучастник.

Прямо из лазарета, когда милосердные братья (бородатые, в белых халатах поверх черных ряс) унесли покойника на ледник, я отправился в лечебницу доктора Коровина и, хоть час был ранний, потребовал немедленной встречи со светилом нервно-психических болезней. Сначала ни в какую не хотели пускать без рекомендаций, но вы меня знаете: если нужно, я в игольное ушко пролезу. У меня имелось к светилу два вопроса. Первый: возможна ли групповая зрительно-слуховая галлюцинация? Второй: не сошел ли я с ума?

Коровин сначала озаботился вторым вопросом и ответил на него не ранее, чем через час. Задавал мне вопросы про папеньку, маменьку и прочих пращуров вплоть до прадедушки Пантелеймона Ленточкина, скончавшегося от белой горячки. Потом светил мне в зрачки, стучал молотком по суставам и заставлял рисовать геометрические фигуры. В конце концов объявил: «Вы совершенно здоровы, только сильно чем-то напуганы до истероидного состояния. Ну-с, теперь можно послушать и про галлюцинации». Я рассказал. Он внимательно выслушал, кивая, а потом предложил следующее объяснение, на тот момент полностью меня удовлетворившее.

«В осенние ночи на островах, – сказал Коровин, – из-за особой озонированности воздуха и эффекта водяного зеркала нередко всякого рода оптические обманы. Иной раз, особенно в лунном освещении, можно увидеть, как по озеру движется черный столб, который поэтической или религиозной натуре, пожалуй, напомнит монаха в схимническом одеянии. На самом же деле это обыкновенный смерчок». «Что?» – не понял я. «Смерчок, маленький смерч. Он может быть локальным: повсюду безветрие, а в одном месте из-за прихотей давления вдруг образовался воздушный поток, и довольно быстрый. Подхватит с берега опавшие листья, сор,

закружит их, завертит конусом – вот вам и Черный Монах. Особенно если вы уже ожидаете его увидеть».

Я вышел от доктора почти совсем успокоенным и только жалел злополучного Кубовского, но чем больше удалялся от лечебницы, тем громче во мне звучал голос сомнения. А неземной свет? А слова, которые я расслышал так явственно? Да и не мог то быть вихрь – и двигался медленно, всего на несколько шагов, и контуры были очень уж четки.

Дальнейшие события подтвердили, что смерч и озонированность воздуха к делу касательства не имеют.

Загубив человека, Василиск словно с цепи сорвался и пределами Постной косы ограничиваться перестал.

Следующей ночью он явился брату Клеопе, лодочнику, который единственный из всех араратских жителей может наведываться в Василисков скит: раз в день отвозит схимникам необходимое и забирает сделанные четки. Ночью, когда Клеопа брел в монастырь от какого-то своего приятеля, Василиск предстал перед ним прямо у братского кладбища. Мощно толкнул лодочника в грудь, так что тот грохнулся оземь, и громовым голосом воспретил плавать на Окольный остров, ибо «место то проклято».

Сенсационность события была несколько ослаблена в силу общеизвестной неводержанности брата Клеопы к вину – он и в ту ночь возвращался в келью пьяненький. Даже и сам очевидец не мог побожиться, что святой ему не привиделся. Тем не менее, слух сразу же распространился по всему Ханаану.

А еще через две ночи произошло событие уже несомненное, повлекшее за собой самые тяжкие, даже трагические последствия.

Брата Клеопу призрак напугать не смог, так как тот плавает в скит среди бела дня, а к ночи, когда является Черный Монах, обыкновенно бывает уже нетрезв и ничего не боится. Но кроме этого в пролив, отделяющий Ханаан от Окольного острова, еще частенько наведывается бакенщик, в обязанности которого входит расставлять фарватерные вехи, часто перемещаемые течением и ветром. Бакенщик этот не монах, а мирянин. Живет он в маленькой избе на северном, почти не населенном берегу Ханаана, с молодой женой, сильно

беременной. Вернее, жил, так как теперь изба стоит пустая.

Позавчера за полночь бакенщик и его жена проснулись от громкого стука в стекло. Увидели в залитом лунным светом окне черный куколь и сразу поняли, кто к ним пожаловал. Ночной гость погрозил окаменевшим от ужаса супругам пальцем и потом тем же перстом, с душераздирающим скрежетом, начертал что-то на стекле (как после выяснилось, крест – старинный, восьмиконечный).

Затем призрак исчез, но у женщины от потрясения случился выкидыш, и, пока муж бежал за помощью, несчастная истекла кровью. Бакенщик же рассказал монастырским властям о ночном видении и принялся сколачивать два гроба: один жене, второй себе, ибо твердо сказал, что жить далее он не желает. Вечером сел в лодку, выплыл на простор и, привязав к шее камень, бросился в воду – с берега это многие видели. Утопленника искали, но не нашли, так что второй гроб остался невостребованным.

Город теперь не узнать. То есть днем он такой же многолюдный, как прежде – никто из паломников бежать с острова не торопится, поскольку любопытство и тяга к таинственному в людях сильней благоразумия и страха, но ночью улицы совершенно вымирают. Про Василисков скит говорят нехорошее. Мол, нет страшнее места, чем то, где раньше благодать была, а потом прохудилась – будь то брошенная церковь, либо оскверненное кладбище, и уж тем более спасительный скит. Среди братии и местных жителей крепнет суждение, что заступника надо послушать и схимников с Окольного увезти – не то Черный Монах осерчает еще пуще.

Архимандрит прошел по всему Ханаану с крестным ходом, а избушку бакенщика окропил святой водой, но все равно к тому месту теперь никто не ходит. Я, впрочем, наведалься (правда, утром, при солнечном сиянии). Видел пресловутый крест, накарябанный на стекле. Даже потрогал пальцем.

Вы только не подумайте, кудесник Мерлин, что ваш рыцарь окончательно перетрусил. Я готов рассмотреть версию, что вселенная не исключительно материальна, но это означает не капитуляцию, а перемену методики. Кажется, придется снять одни доспехи и надеть другие. Но сдаваться я не намерен и о помощи вас пока не прошу.

Ваш Ланселот Озерный.

* * *

Это во всех отношениях удивительное письмо произвело на участников совещания неодинаковое впечатление.

– Храбрится, а сам до смерти напуган, – сказал епископ. – По себе помню, как это страшно, если мир с ног на голову переворачивается. Только у меня наоборот было: я с детства верил, что миром владеет дух, и когда впервые заподозрил, что Бога никакого нет, а есть одна только материя, то-то мне тоскливо, то-то бесприютно сделалось. Тогда и в монахи пошел, чтоб всё обратно с головы на ноги поставить.

– Как? – поразился Бердичевский. – Это у вас, у вас такие сомнения бывали? А я полагал, что...

Он смешался и не договорил.

– Что только у тебя? – закончил за него Митрофаний с невеселой усмешкой. – А что у меня одна лишь святость внутри? Нет, Матвей, одна святость только у скучных разумом бывает, а человеку мыслящему тяжкие искушения в испытание ниспосылаются. Благ не тот, кто не искушается, а тот, кто преодолевает. Никогда и ни в чем не сомневающийся мертв душой.

– Так вы, отче, верите в эти чудеса? – спросила сестра Пелагия, отрываясь от вязания. – В привидение, в хождение по воде и прочее? Раньше вы иначе говорили.

– Что мальчик имеет в виду под переменной доспехов? – задумчиво пробормотал преосвященный, будто не расслышав. – Непонятно... Ах, до чего ж интересны и многосмысленны пути Господни!

Пелагия же высказала замечание психологического свойства:

– По прошлому письму я предположила, что ваш посланник увлекся той соблазнительной дамой и про поручение ваше забыл, оттого и перерыв в корреспонденции. Здесь же про нее всего одно упоминание, мимоходом. Не знаю, правду ли Алексей Степанович пишет про призрака, но совершенно ясно,

что молодой человек и в самом деле перенес сильнейшее потрясение. Иначе они ни за что не забыли бы о такой привлекательной особе.

– У женщин одно на уме, – досадливо поморщился архиерей. – Вечно вы преувеличиваете свое воздействие на мужчин. На свете есть загадки потаинственней, чем романтические незнакомки в вуалетках. Ох, выручать надо мальчугана. Помощь ему нужна, хоть он и отказывается.

Тут Матвей Бенционович, слушавший рассуждения владыки и его духовной дочери с удивленно поднятыми бровями, не выдержал:

– Так вы это серьезно? Право, отче, я на вас удивляюсь! Неужто вы приняли эти басни за чистую монету? Ведь Ленточкин водит вас за нос, разыгрывает самым бесстыдным образом! Разумеется, все эти дни он проволочился за своей «принцессой», а теперь выдумывает сказки, чтоб над вами потешиться. Это же очевидно! Я одного не возьму в толк – как вы могли послать с ответственной миссией беспутного молокососа? С вашим-то знанием людей!

В словах товарища окружного прокурора были и логика, и здравый смысл, так что Митрофаней даже смутился, а Пелагия хоть и покачала головой, но спорить не стала.

Так и разошлись, не приняв никакого решения. Драгоценное время было упущено попусту. Это стало ясно двумя днями позднее, когда пришло третье письмо.

Из-за осенних ливней дороги были размыты, почтовая карета сильно запоздала, и епископу доставили конверт уже на ночь глядя. Невзирая на это, владыка немедленно послал за Бердичевским и Пелагией.

* * *

Третье письмо Алексея Степановича

Эврика! Метод найден!

Самое трудное было отказаться от материалистической системы координат, ошибочно двухмерной. Она игнорирует третье измерение, которое я условно назову мистическим – уверен, что со временем подыщется другой, менее эмоциональный термин. Но сначала нужно разработать систему исследования и измерительную технику. Современная наука этим совершенно не занимается, будучи полностью согласной с вашим обожаемым Экклесиастом, сказавшим: «Кривое не может сделаться прямым и чего нет, того нельзя сосчитать». А между тем, основоположник научного прогресса Галилей полагал иначе. Он сформулировал главный догмат ученого так: «Измерить всё, что поддается измерению, а что не поддается – сделать измеряемым».

Стало быть, необходимо сделать измеряемым мистическое.

Пускай материалистическая наука такой задачи не признаёт, но ведь прежде, до наступления Эпохи Разума, была и другая наука, магическая, которая в течение веков пыталась исчислить то, что принято именовать сверхъестественным. И, насколько мне известно, кое-чего на этом поприще достигла!

Эта предпосылка, до которой я додумался лишь третьего дня, и вывела меня к решению задачи.

Кажется, я уже писал, что в монастыре есть библиотека, где собрано множество новых и старинных книг религиозного содержания. Я бывал там и ранее, перелистывая от нечего делать какой-нибудь «Алфавит духовный», Иоанна Лествичника, Ефрема Сирина или «Ново-Араратский патерик», но теперь принялся искать с толком и целью.

И что же? На второй день, то есть вчера, нашел книгу 1747 года издания, перевод с латинского: «Об умилоствлении духов добрых и одолении духов злых». Стал читать и затрепетал! То самое, что мне нужно! В точности! (Это совпадение, кстати говоря, является еще одним доказательством реальности мистического измерения.)

В старой книге черным по белому написано: «А ежели дух бесплотный где плотное (то есть, выражаясь по-современному, материальное) поминание по себе оставит, то сей знак подобен хвосту, ухвативши за койи, духа возможно уловить и из бесплотности на свет вытянуть». Пространные и наивные рассуждения о погрешимости Сатаны, который, в отличие от вездесущего

Господа, иногда делает упушения, а потому может и должен быть побеждаем, я пересказывать не стану и перейду к сути.

Итак, если некая субстанция, принадлежащая к мистическому измерению, по неосмотрительности оставила в нашем материальном мире некий вещественный знак своего присутствия, то этот физический след может быть использован человеком, чтобы вытянуть фантом в вещный мир, воспринимаемый нашими органами чувств. Вот что главное!

Дальше, на нескольких страницах, в трактате обстоятельно излагается, что для этого нужно сделать.

Ровно в полночь, когда третье измерение совмещается с двумя первыми, в результате чего, очевидно, происходит трансформация времени (то есть в земном смысле оно как бы останавливается), нужно встать перед знаком, сотворить крестное знамение и произнести слова магической формулы «Прииди, дух нечистый (или „дух святой“ – это смотря по надобности), на след, иже оставил, на то у Гавриила с Лукавым уговор есть». При этом взыскующий должен быть совершенно наг и не иметь на себе ни колец, ни нательного креста, ни каких-либо иных посторонних предметов, ибо каждый из них, даже самый маленький, в миг трансформации многократно утяжеляется и сковывает движения.

Формула не только заставит неосмотрительного духа немедленно предстать перед взыскующим, но и убережет его от опасности. А если дух все же пожелает отомстить (правда, такое случается только со злыми духами, а Василиск, судя по всему, принадлежит к категории духов добрых), то защититься от нападения можно простым восклицанием: «Credo, credo, Domine!» (Полагаю, сгодится и русское «Верую, верую, Господи!» – тут ведь не в звуках дело, а в смысле.)

Материальный знак имеется: крест, начертанный на окне избы бакенщика. Ночью там поблизости ни души, так что наготой я никого не эпатирую (да и потом, можно же сначала войти внутрь, а раздеться уже после). Магическую формулу я выучил, молитву запомнить тоже нетрудно.

Попробуем, ведь попытка не пытка. В худшем случае выставлю себя болваном – ничего, не страшно.

Не выйдет – буду дальше искать, как сделать неизмеряемое измеряемым.

Нынче ночью пойду. Не поминайте лихом, отче. А если что, то пусть в ваших молитвах хоть изредка будет поминаться

любивший и уважавший вас

Алеша Ленточкин.

* * *

Ехать в Новый Арарат, и немедленно – это владыка объявил сразу по прочтении письма как уже принятое и обдуманное решение, даже не предложив своим советчикам высказаться. Впрочем, Бердичевский и Пелагия, кажется, от растерянности не очень-то и знали, что говорить.

Зато Митрофаний, пока дожидался их прихода, всё уже придумал.

– Мальчик совсем заплутал в тумане, – сказал он. – Каюсь, виноват. Хотел в нем духовное зрение пробудить, да вспышка получилась слишком яркой – от нее он вовсе ослеп. Надо Алешу оттуда забирать, хоть бы даже и силком – это самое первое. А уж потом разбираться в ново-араратских чудесах. Здесь потребен человек военного склада: решительный, без фанаберий и излишнего воображения. Ты, Матвей, не годишься.

Матвей Бенционович себя человеком военного склада отнюдь не считал, но все равно немного обиделся.

– Это кто ж у нас, владыко, человек без воображения? – поинтересовался он с самым легчайшим оттенком язвительности, уверенный, что архиерей имеет в виду самого себя.

Ответ был неожиданным:

– Не думай, не я. Я духовное лицо и могу оказаться непротивителен к мистическим впечатлениям. Если уж Ленточкин не устоял... – Митрофаний покачал головой, как бы вновь удивляясь непрочности Алешиного нигилизма. –

Лагранж поедет.

Этот выбор на первый взгляд был не менее неожиданным, чем предыдущий, когда епископ надумал отправить по внутрицерковным делам мальчишку-безбожника.

То есть, с одной стороны, заволжский полицмейстер Феликс Станиславович Лагранж по самой своей должности мог бы показаться вполне уместной кандидатурой для произведения быстрой и решительной операции, но это если не знать подоплеки. А подоплека была такая, что господин полковник числился у преосвященного в штрафниках и еще совсем недавно по настоянию владыки чуть даже не угодил под суд за кое-какие не слишком авантажные дела. Однако в самое последнее время Лагранж был почти что прощен и даже стал ходить к архиерею на исповедь. Тут, надо полагать, снова разыграло уже поминавшееся честолюбие Митрофания, которому не столь интересно было пастырствовать над душами просветленными, а непременно хотелось достучаться до душ черствых и глухих.

Матвей Бенционович открыл было рот, чтобы возразить, но тут же сомкнул губы обратно. Ему пришло в голову, что, на второй взгляд, объявленный избранник не столь уж и плох, потому что... Но об этом как раз заговорил и владыка:

– Феликс Станиславович хоть и ходит ко мне на исповедь, но делает это, как в караул заступает или на развод, словно бы исполняя предписания артикула. Отрапортует мне со всей дотошностью, сколько раз матерно выругался и у каких непотребных девиц побывал, получит отпущение грехов, щелкнет шпорами, поворот кругом и марш-марш. Он из той редкой породы людей, которым вера совершенно ни к чему. Впрочем, – улыбнулся Митрофаний, – полковник, верно, очень оскорбился бы, если б кто назвал его материалистом – пожалуй, и в морду бы дал. А служака он исполнительный, свое полицейское дело знает и храбрец, каких мало. Завтра вызову его, попрошу съездить – не откажет.

Так владыка и поступил: вызвал, проинструктировал, и полицмейстеру, конечно, в голову не пришло упрямиться – он принял пожелание преосвященного беспрекословно, как принял бы приказ от губернатора или директора полицейского департамента. Пообещал прямо с утра, передав дела помощнику, отправиться в путь.

Но прежде того, вечером, особый нарочный доставил из Нового Арарата новое письмо, которое совершенно потрясло владыку, Бердичевского и Пелагию, хотя в то же время многое и разъяснило.

Да, впрочем, что пересказывать своими словами, только путать. Вот он, этот документ. Как говорится, комментарии излишни.

Ваше преосвященство,

Не уверен, что Вы именно тот, кому следует адресовать это письмо, но ни местожительство, ни родственные обстоятельства молодого человека, остановившегося в ново-араратской гостинице «Ноев ковчег» под именем Алексея Степановича Ленточкина, никому здесь не известны. В нумере, который он занимал, на столе обнаружен конверт с надписью «Преосвященному о. Митрофанию, Архиерейское подворье, Заволжск» и рядом чистый листок бумаги, как если бы Ленточкин намеревался написать Вам письмо, но не успел. Поэтому-то я и обращаюсь к Вам, владыко, в надежде, что Вы знаете этого юношу, сумеете известить родственников о приключившемся с ним несчастье и сообщите мне любые подробности о его предшествующей жизни, так как это очень важно для выбора правильной методы лечения.

Г-н Ленточкин (если это его настоящее имя) страдает острейшей формой умственного помешательства, исключающей возможность его транспортировки с острова. Нынче на рассвете он прибежал в принадлежащую мне психиатрическую лечебницу, пребывая в столь плачевном состоянии, что я был вынужден оставить его у себя. На вопросы не отвечает, только все время бормочет: «Credo, credo, Domine» и по временам произносит лихорадочные, сбивчивые монологи бредового содержания. Помимо очевидной нецелесообразности перевозки больного с места на места, характер его мании интересен мне как медику. Полагаю, что Вам доводилось слышать о моей клинике, но, возможно, Вы не знаете, что я берусь лечить не любые умственные расстройства, а лишь те, что плохо изучены психиатрической наукой. Случай Ленточкина именно таков.

Не стану обременять Вас печальными деталями, ибо все же не вполне уверен, что Вы знакомы с моим новообретенным пациентом. Учитывая религиозную тематику его бреда (невразумительного и почти бессвязного), легко

предположить, что Ленточкин вознамерился написать губернскому архиерею так же, как иные мои подопечные пишут государю императору, папе римскому или китайскому богдыхану.

Если же Вы все-таки знаете, как связаться с родственниками Ленточкина, то поспешите. По опыту я знаю, что состояние таких больных, за редчайшими исключениями, ухудшается очень быстро и вскорости заканчивается летальным исходом.

Остаюсь почтительный

слуга Вашего преосвященства,

Донат Саввич Коровин, доктор медицины.

Экспедиция вторая

Приключения храбреца

В связи с новым, прискорбным поворотом событий (даже удивительно, что заранее не предугаданным такими умными людьми), вновь возник спор, кому ехать. В конце концов владыка настоял на прежнем своем решении, и в Новый Арарат был командирован полицмейстер, однако этому итогу предшествовал резкий спор между отцом Митрофанием и сестрой Пелагией – Матвей Бенционович в вопросе о Лагранже придерживался нейтралитета и потому больше отмалчивался.

Спор был о Гордиевом узле. Началось с того, что архиерей уподобил полковника Лагранжа решительному Александру, который, не сумев распутать хитроумный узел, попросту разрубил его мечом и тем отлично вышел из конфузной ситуации. По мнению преосвященного, именно так в случае затруднения поступит и Лагранж, который как человек военный не станет пасовать ни перед какой головоломкой, а пойдет напролом, что в таком казусном деле может оказаться самым действенным приемом.

– Мне вообще сдается, – сказал владыка, – что чем сложнее и запутанней положение, тем проще из него выход.

– О, как вы ошибаетесь, отче! – в чрезвычайном волнении вскричала Пелагия. – Какие опасные вы говорите слова! Если так рассуждаете вы, мудрейший и добрейший из всех известных мне людей, то чего же ожидать от земных правителей? Они-то и без того при малейшем затруднении склонны хвататься за меч. Разрубить Гордиев узел заслуга невеликая, любой дурак бы смог. Да только ведь после этого Александрова подвига на свете одним чудом меньше стало!

Митрофаний хотел возразить, но монахиня замахала на него руками, и пастырь изумленно уставился на свою духовную дочь, ибо никогда еще не видел от нее такой непочтительности.

– Не бывает простых выходов из сложных положений! Так и знайте! – запальчиво воскликнула инокия. – А военные ваши только всё ломают и портят! Там, где потребны такт, осторожность, терпение, они влезают со своими сапогами, саблями, пушками и такое натворят, что после долго лечить, латать и поправлять приходится.

Епископ удивился:

– Что ж, по-твоему, военные вовсе не нужны?

– Отчего же, нужны. Когда супостат напал и требуется отечество защищать. Но ничего другого им доверять нельзя! Никакого гражданского и тем более духовного дела! А у нас ведь в России военным чего только не поручают! Для того, чтоб наладить неисправное в тонком механизме, сабля – инструмент негодный. И полковника вашего в Арарат посылать – все равно что запускать слона в фарфоровую лавку!

– Ничего, – отрезал Митрофаний, обиравшись за военное сословие. – Ганнибал на слонах Альпы преодолел! Да, Феликс Станиславович миндальничать не станет. Он все острова вверх дном перевернет, но сыщет мне злодея, который Алешу до желтого дома довел! Призрак, не призрак – Лагранжу все равно. И кончено. Иди, Пелагия. Я своего решения не переменю.

Отвернулся и даже не благословил монахиню на прощанье, вот как осерчал.

* * *

На верхней палубе колесного парохода «Святой Василиск», деловито шлепавшего лопастями по темной воде Синего озера, стоял представительный, хорошей комплекции господин в шерстяной клетчатой тройке, белых гетрах, английском кепи с наушниками и заинтересованно рассматривал свое отражение в стекле одной из кают. Панорама подернутой вечерним туманом бухты и мерцающих огней Синеозерска пассажира не привлекала, он был повернут к этому лирическому пейзажу спиной. Подвигался и так, и этак, чтобы проверить, хорошо ли сидит пиджак, тронул свои замечательно подкрученные усы, остался доволен. Разумеется, синий, шитый золотом мундир был бы во стократ лучше, подумал он, но настоящий мужчина недурно смотрится и в статском платье.

Дальше любоваться на себя стало невозможно, потому что в каюте зажегся свет. То есть сначала в темноте прорезалась узкая щель, быстро превратившаяся в освещенный прямоугольник, и обрисовался некий силуэт; потом прямоугольник исчез (это закрыли дверь в коридор), но в следующую же секунду вспыхнул газовый рожок. Привлекательная молодая дама отняла руку от рычажка, сняла шляпку и рассеянно поглядела на себя в зеркало.

Усатый пассажир и не подумал отойти – напротив, придвинулся еще ближе к стеклу и окинул стройную фигуру дамы внимательным взглядом знатока.

Тут обитательница каюты наконец повернулась к окну, заметила подглядывающего господина, ее бровки взметнулись кверху, а губки шевельнулись – надо полагать, она воскликнула «ах!» или еще что-нибудь в том же смысле.

Красивый мужчина несколько не смутился, а галантно приподнял кепи и поклонился. Дама вновь бесшумно задвигала губами, теперь уже более продолжительно, но значение неслышных снаружи слов опять угадывалось без труда: «Что вам угодно, сударь?»

Вместо того чтоб ответить или, еще лучше, удалиться, пассажир требовательно постучал костяшками пальцев по стеклу. Когда же заинтригованная путешественница приспустила раму, сказал ясным и звучным голосом:

– Феликс Станиславович Лагранж. Простите за прямоту, мадам, я ведь солдат, но при взгляде на вас у меня возникло ощущение, будто кроме нас на этом корабле никого больше нет. Лишь вы да я, а больше ни души. Ну не странно ли?

Дама вспыхнула и хотела молча закрыть раму обратно, но, повнимательней взглянув на приятное лицо солдата и в особенности на его круглые, до чрезвычайности сосредоточенные глаза, вдруг как бы задумалась, и момент проявить непреклонность был упущен.

Вскоре полковник и его новая знакомая уже сидели в салоне среди паломников (все сплошь исключительно приличная публика), пили крошон и разговаривали.

Собственно говорила главным образом Наталья Генриховна (так звали даму), полицмейстер же рта почти не раскрывал, потому что на первой стадии знакомства это лишнее – только загадочно улыбался в душистые усы и обожал собеседницу взглядом.

Порозовевшая дама, жена петербургского газетного издателя, рассказывала, что, устав от суетной столичной жизни, решила омыться душой, для чего и отправилась на священный остров.

– Знаете, Феликс Станиславович, в жизни вдруг наступает миг, когда чувствуешь, что так более продолжаться не может, – откровенничала Наталья Генриховна. – Нужно остановиться, оглянуться вокруг, прислушаться к тишине и понять про себя что-то самое главное. Я потому и поехала одна – чтобы молчать и слушать. И еще вымолить у Господа прощение за все вольные и невольные прегрешения. Вы меня понимаете?

Полковник выразительно поднял брови: о да!

Час спустя они прогуливались по палубе, и, прикрывая спутницу от свежего ветра, Лагранж свел дистанцию меж своим мужественным плечом и хрупким плечиком Натальи Генриховны до несущественной.

Когда «Святой Василиск» вышел из горла бухты на черный простор, ветер вдруг сделался резок, в борт принялись шлепать сердитые белозубые волны, и полковнику пришлось то и дело подхватывать даму за талию, причем каждый

следующий раз его рука задерживалась на упругом боку чуть дольше.

Матросы-монахи в поддернутых подрысниках бегали по палубе, укрепляя расплясавшиеся спасательные шлюпки, и привычной скороговоркой бормотали молитву. На мостике виднелась массивная фигура капитана, тоже в рясе, но при кожаной фуражке и с широким кожаным поясом поперек чресел. Капитан кричал в рупор хриплым басом:

– Порфирий, елей те в глотку! Два шлага зашпиль!

На корме, где меньше неистовствовал ветер, гуляющие остановились. Окинув взором бескрайние бурные воды и низко придвинувшееся черно-серое небо, Наталья Генриховна содрогнулась:

– Боже, как страшно! Словно мы провалились в дыру меж временем и пространством!

Лагранж понял: пора начинать атаку по всему фронту. Оробевшая женщина – все равно что дрогнувший под картечью неприятель.

Провел наступление блестяще. Сказал, перейдя на низкий, подрагивающий баритон:

– В сущности я чудовищно одинок. А так, знаете, иногда хочется понимания, тепла и... ласки, да-да, самой обыкновенной человеческой ласки.

Опустил лоб на плечо даме, для чего пришлось слегка согнуть колени, тяжело вздохнул.

– Я... Я отправилась в Арарат не затем, – смятенно прошептала Наталья Генриховна, словно бы отталкивая его голову, но в то же время перебирая пальцами густые волосы Феликса Станиславовича. – Не делать новые грехи, а замаливать прежние...

– Так заодно уж всё разом и замолите, – привел полковник аргумент, неопровержимый в своей логичности.

Еще через пять минут они целовались в темной каюте – пока еще романтично, но пальцы полицмейстера уже определили дислокацию пуговиц на платье Натальи Генриховны и даже потихоньку расстегнули верхнюю.

Среди ночи Феликс Станиславович очнулся от сильного толчка, приподнялся на локте и увидел совсем близко испуганные женские глаза. Хоть узкое ложе не было приспособлено для двоих, полковник, как впрочем и всегда, почивал самым отличным образом, и если уж пробудился, то, значит, удар был в самом деле нешуточный.

– Что такое? – Лагранж спросонья не вспомнил, где он, но сразу посмотрел на дверь. – Муж?

Дама (как бишь ее звали-то?) тихонько выдохнула:

– Мы тонем...

Полковник тряхнул головой, окончательно проснулся и услышал рев шторма, ощутил сотрясение корабельного корпуса – даже странно стало, как это любовников до сих пор не вышвырнуло из кровати.

– Уроды сыроядные! – слышался откуда-то сверху рев капитана. – Саддукен скотоложные! Чтоб вас, ехидн, Молох познал!

Отовсюду – и снаружи, и с нижней палубы, доносились отчаянные крики и рыдания, это боялись пассажиры.

Наталья Генриховна (вот как ее звали) с глубокой убежденностью сказала:

– Это мне за кощунство. За грехопадение на пути в святую обитель.

И жалобно, безнадежно заплакала.

Лагранж успокаивающе потрепал ее по мокрой щеке и быстро, по-военному, оделся.

– Куда вы? – в ужасе воскликнула паломница, но дверь захлопнулась. Через полминуты полицмейстер был уже на шлюпочной палубе.

Придерживая рукой кепи, так и рвавшееся в полет, он в два счета оценил ситуацию. Ситуация была ватер-клозетная.

Капитан метался вокруг рубки, тщетно пытаясь поднять на ноги полдюжины матросов, которые стояли на коленях и молились. Феликс Станиславович разобрал: «Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево...» Рулевое колесо в рубке помахивалось туда-сюда, как пьяное, и пароход рыскал носом меж высоченных волн, несясь неведомо куда.

– Что это вы руль бросили, Нахимов?! – кинулся Лагранж к капитану.

Тот рассек воздух огромным кулачищем.

– Одному не вывернуть! Пароходишко дрянь, на большой волне курса не держит! Я говорил архимандриту! Эту кастрюлю сделали, чтоб по Неве дамочек катать, а тут Сине-море! Нас на Чертов Камень несет, там мели!

В тот же миг пароход вдруг дернулся и встал как вкопанный. Оба – и полицмейстер, и капитан – налетели на стенку рубки, чуть не упали. Корабль немножко поерзал и начал медленно поворачиваться вокруг собственной оси.

– Всё, сели! – в отчаянии вскричал капитан. – Если сейчас нос по волне не повернуть, через четверть часа на бок ляжем, и тогда всё, пиши пропало! У, козлы смердячие! – Он замахнулся на свою молящуюся команду. – Рыло бы им начистить, да нельзя мне, я обет давал ненасильственный!

Феликс Станиславович сосредоточенно наморщил лоб.

– А если начистить, тогда что?

– Всем вместе на трос приналечь – развернули бы. А, что уж теперь!

Капитан всплеснул руками и тоже бухнулся на колени, загнусявил:

– Прими, Господи, душу раба Твоего, на Тя бо упование возложиша Творца и Зиждителя и Бога нашего...

– Приналечь? – деловито переспросил полковник. – Это мы быстро.

Он подошел к ближайшему из монахов, наклонился к нему и задушевно сказал:

– А ну-ка, вставайте, отче, не то евхаристию набок сворочу.

Молящийся не внял предупреждению. Тогда Феликс Станиславович рывком поставил его на ноги и в два счета исполнил свое свирепое намерение. Оставил святого человека в изумлении плевать красной юшкой и тут же принялся за второго. Минуты не прошло – все палубные матросы были приведены в полную субординацию.

– За что тут тянуть-то? – спросил Лагранж у остолебневшего от такой распорядительности капитана.

И ничего, Господь милостив, навалились все разом, повернули нос корабля, куда следовало. Никто не потоп.

* * *

Перед расставанием, когда пароход уже стоял у новоараратского причала, брат Иона (так звали капитана) долго не выпускал руку Феликса Станиславовича из своей железной клешни.

– Бросьте вы свою службу, – гудел Иона, глядя в лицо полковнику ясными голубыми глазками, удивительно смотревшимися на широкой и грубой физиономии. – Идите ко мне старпомом. Право, отлично бы поплавали. Тут, на Синем море, интересно бывает, сами видели. И душу бы заодно спасли.

– Разве что в смысле пассажиров, – тронул усы полицмейстер, потому что к трапу как раз вышла Наталья Генриховна – построжевшая лицом и сменившая легкомысленную шляпку на постный черный платок. Носильщик нес за ней целую пирамиду чемоданов, чемоданчиков и коробок, умудряясь удерживать всю эту Хеопсову конструкцию на голове. Остановившись, паломница широко

осенила себя крестом и поклонилась в пояс благолепному городу – вернее его освещенной набережной, потому что самого Нового Арарата по вечернему времени было не рассмотреть: «Василиск» полдня проторчал на мели, дожидаясь буксира, и прибыл на остров с большим опозданием, уже затемно.

Лагранж галантно поклонился соучастнице романтического приключения, но та, видно, уже изготовившаяся к просветлению и очищению, даже не повернула головы к полковнику, так и прошествовала мимо.

Ах, женщины, улыбнулся Феликс Станиславович, отлично понимая и уважая спасительное устройство дамской психики.

– Ладно, отче, увидимся, когда поплыву обратно. Думаю, денька через два-три, вряд ли позднее. Как полагаете, погода к тому времени нала... – снова повернулся он к капитану, однако не договорил, потому что брат Иона глядел куда-то в сторону и лицо у него разительным образом переменялось: сделалось одновременно восторженным и каким-то растерянным, будто бравый капитан слышал губительную песню Сирены или увидел бегущую по волнам деву, что сулит морякам забвение горестей и удачу.

Лагранж проследил за взглядом странно умолкшего капитана и, в самом деле, увидел гибкий девичий силуэт, но только не скользящий меж пенных гребней, а неподвижно застывший на пристани, под фонарем. Барышня повелительно поманила Иону пальцем, и тот сомнамбулической походкой направился к трапу, даже не оглянувшись на своего несостоявшегося старпома.

Как человек любопытный и по складу характера, и по должности, а также пылкая натура, равнодушная к женской красоте, Феликс Станиславович подхватил свой желтый саквояж патентованной свинячьей кожи и потихоньку пристроился капитану в хвост или, как говорят моряки, в кильватер. Чутье и опыт подсказали полковнику, что при такой дивной фигурке и уверенной осанке лицо встречающей не может оказаться некрасивым. Как же было не удостовериться?

– Здравствуйте, Лидия Евгеньевна, – робко пробасил Иона, приблизившись к незнакомке.

Та властно протянула руку в высокой серой перчатке – но, как выяснилось, не для поцелуя и не для рукопожатия.

– Привезли?

Капитан извлек что-то, совсем маленькое, из-за пазухи своего монашеского одеяния и положил на узкую ладонь, но что именно, полковник подглядеть не успел, потому что в этот самый миг барышня повернула к нему голову и легким движением приподняла вуаль – очевидно, чтоб лучше рассмотреть незнакомца. На это ей хватило двух, самое большее трех секунд, но этого кратчайшего отрезка времени хватило и Лагранжу – чтобы остолбенеть.

О!

Полицмейстер схватился рукой за тугой воротничок. Какие огромные, бездонные, странно мерцающие глаза! Какие впадинки под скулами! А изгиб ресниц! А скорбная тень у беззащитных губ! Черт подери!

Отодвинув плечом зуброобразного брата Иону, Лагранж приподнял кепи.

– Сударыня, я здесь впервые, никого и ничего не знаю. Приехал поклониться святыням. Помогите человеку, который много и тяжело страдал. Посоветуйте, куда вначале направить стопы горчайшему из грешников. К монастырю? К Василискову скиту? Или, быть может, в какой-нибудь храм? Кстати, позвольте отрекомендоваться: Феликс Станиславович Лагранж, полковник, в прошлом кавалерист.

Лицо красавицы уже было прикрыто невесомым ажуром, но из-под края вуалетки было видно, как прелестный рот скривился в презрительной гримасе.

Оставив хитроумный, психологически безошибочный апрош полицмейстера безо всякого внимания, девушка, которую капитан назвал Лидией Евгеньевной, спрятала сверточек в ридикюль, грациозно повернулась и пошла прочь.

Брат Иона тяжело вздохнул, а Лагранж заморгал. Это было неслыханно! Сначала петербургская коза не удостоила прощанием, теперь еще и это унижение!

Забеспокоившись, полковник достал из жилетного кармана удобное зеркальце и проверил, не приключилось ли с его лицом какой-нибудь неприятности – внезапной нервной экземы, прыща или, упаси Боже, повисшей из носа сопли. Но нет, внешность Феликса Станиславовича была такой же красивой и приятной, как всегда: и мужественный подбородок, и решительный рот, и превосходные усы, и умеренный, совершенно чистый нос.

Окончательно настроение полковнику испортил какой-то идиот в берете, невеликого росточка, но в гигантских темных очках. Он преградил Лагранжу дорогу, зачем-то покрутил оправу своих клоунских бриллей и пробормотал:

– Быть может, этот? Красный – это хорошо, это возможно. Но голова! Малиновая! Нет, не годится! – И, уже совсем выйдя за рамки приличного поведения, сердито замахал на полковника руками. – Идите, идите! Что вы встали? Дуб! Чугунный лоб!

Ну и городок!

* * *

Гостиница «Ноев ковчег», про которую Феликс Станиславович знал от преосвященного, была хороша всем за исключением цен. Что это такое – шесть рублей за номер? То есть полковнику, разумеется, была вручена некая сумма из личного архиерейского фонда, вполне достаточная для оплаты даже и столь расточительного постоя, но полицмейстер проявил разумную изобретательность, вообще в высшей степени ему свойственную: записался в книге постояльцев, обозначив твердое намерение занять комнату по меньшей мере на три дня, а после, придравшись к виду из окон, останавливаться в «Ковчеге» не стал, сыскал себе пристанище поэкономней. Нумера «Приют смиренных» брали с постояльцев всего по рублю – то есть выходило пять целковых в день чистого прибытка. Отец Митрофаний не такая особа, чтоб в мелочах копаться, а если когда-нибудь, при проверке отчетности, сунет нос консисторский ревизор, то вот вам запись в книге: был в «Ноевом ковчеге» Ф.С.Лагранж, обозначился, а прочее ерунда и домыслы.

Переночевав в комнатенке с видом на глухую кирпичную стену монастырской рыбокоптильни, полицмейстер с утра выпил чаю и немедленно приступил к рекогносцировке. Сведения, полученные преосвященным от Алексея

Степановича Ленточкина, нуждались во всесторонней тщательной проверке, ибо вызывали сомнение решительно всем, и в первую очередь личностью самого эмиссара, которого полковник немного знал и именовал про себя не иначе как «попрыгун». Мало того, что несерьезный и безответственный субъект, которому после К-ских безобразий следовало бы состоять под надзором полиции, так еще и съехал с ума. Кто его знает, когда у него в мозгах замутнение произошло – может, в Арарат он прибыл уже полностью чикчирикнутым, а тогда вообще всё враки.

Феликс Станиславович вооружился планом Нового Арарата, поделил город на квадраты и в два часа прочесал их все, прислушиваясь и приглядываясь. Примечательное заносил в особую тетрадку.

У фонтанчика с целебной водой несколько паломников респектабельного вида и почтенного возраста вполголоса обсуждали минувшую ночь, которая выдалась светлой, хоть луна уже была на самом ущербе.

– Опять видели, – таинственно приглушив голос, рассказывал господин в сером цилиндре с траурным крепом. – Псой Тимофеевич в подзорную трубу наблюдал, с Зачатьевской колокольни. Ближе не рискнул.

– И что же? – придвинулись слушатели.

– Известно что. Он. Прошествовал по водам. Потом луна за облако зашла, снова вышла, а его уж нет...

Рассказчик перекрестился, все прочие последовали его примеру.

«Псой Тим.», записал Лагранж, чтоб после отыскать и опросить свидетеля. Но в ходе рекогносцировки он услышал пересуды про вчерашнее водохождение не раз и не два. Оказалось, что кроме неизвестного Псоя Тимофеевича за Постной косой с безопасного расстояния наблюдали еще несколько смельчаков, и все что-то видели, причем один утверждал, что Черный Монах не просто ходил, а носился над водами. Другой же и вовсе разглядел за спиной Василиска перепончатые, как у летучей мыши, крылья (сами знаете, у кого такие бывают).

В котлетной «Упитанный телец» полицмейстер подслушал спор двух пожилых дам о том, следовало ли хоронить жену бакенщика и выкинутого ею младенца в

освященной земле и не произойдет ли теперь от этого какого осквернения для монастырского кладбища. Недаром третьего дня у ограды его видели – одна баба-просвирня, которая так напугалась, что доселе заикается. Сошлись на том, что бакенщицу еще куда ни шло, а вот некрещеный плод благоразумней было бы спалить и прах по ветру рассеять.

На скамье понадозерного сквера сидели седобородые монахи из числа старшей братии. Пристойно, вполголоса рассуждали о том, что любая сомнительность в вопросах веры ведет к шатанию и соблазну, а один старец, которого прочие слушали с особенным вниманием, призывал Василисков скит на время закрыть, дабы посмотреть, не утишится ли заступник, и если после сего он буйствовать перестанет, значит, надобно Окольный остров оставить в безлюдности как место нехорошее и, возможно, даже проклятое.

Полковник постоял за скамейкой, делая вид, что любит звездным небом (луна нынче в силу астрономических причин отсутствовала). Пошел дальше.

Наслушался еще всякого. Оказывается, Василиска по ночам видели не только на воде и у кладбища, но даже и в самом Арарате: близ сгоревшей Космодамиановской церковки, на монастырской стене, в Гефсиманском гроте. И всем, кому являлся, Черный Монах предостерегающе показывал в сторону Окольного острова.

Таким образом выходило, что в изложении фактов «попрыгун» не наврал. Некие явления, пока неустановленного умысла и значения, действительно имели место быть. Первую задачу расследования можно было считать исполненной.

Далее очередность розыскных действий предполагалась такая: взять показания у доктора Коровина и учинить допрос безумному Ленточкину, ежели он, конечно, не впал в совершенную нечленораздельность. Ну а уж затем, собрав все предварительные сведения, произвести засаду на Постной косе с непременно арестованием призрака и установлением его подлинной личности.

Короче говоря, невелика сложность. Случалось Феликсу Станиславовичу распутывать клубки и помудреней.

Время было уже позднее, для визита в лечебницу неподходящее, и полковник поворотил в сторону «Приюта смиренных», теперь уже не столько

прислушиваясь к разговорам встречающих, сколько просто присматриваясь к новояраратским порядкам.

Город Лагранжу определенно нравился. Чистота, благочиние, трезвость. Ни бродяг, ни попрошайек (кто ж их на пароход-то пустит, чтоб на остров приплыть?), ни досадных взору заплатников. Простые люди недуховного звания – рыбаки, мастеровые – в чистом, приличном; бабы при белых платках, на лицо круглые, телом сытые. Все фонари исправно горят, тротуары из гладко струганных досок, мостовые добротные, из дубовых плашек, и без единой выщербины. Во всей России другого такого образцового города, пожалуй, и не сыщешь.

Имелся у полковника к Новому Арарату и еще один, сугубо профессиональный интерес. Как поселение, образовавшееся из монастырского предместья и на церковной территории, город не попал в уездный штат и находился под прямым управлением архимандрита, без обычных административных органов. Из губернской статистики Лагранжу было известно, что на островах никогда не бывает преступлений и всякого рода злосчастий. Хотелось понять, как тут обходятся без полиции, без чиновников, без пожарных.

На последний вопрос ответ сыскался скоро – будто кто нарочно вздумал устроить для заволжского полицмейстера наглядную демонстрацию.

Проходя по главной площади городка, Лагранж услышал шум, крики, заpolошный звон колокола, увидел мальчишек, которые со всех ног бежали куда-то с самым деловитым и сосредоточенным видом. Феликс Станиславович втянул воздух своим чутким на чрезвычайные происшествия носом, ощутил запах дыма и понял: пожар.

Ускорил шаг, двигаясь вслед за мальчишками. Повернул за угол, потом еще раз и точно – алым кустом, расцветшим в темноте, пылала «Опресночная», дощатый павильон ложно-классической конструкции. Полыхала азартно, неостановимо – видно, искры от жаровни попали куда не надо, а повар прозявил. Вон он, в белом колпаке и кожаном переднике, и с ним двое поварят. Бегают вокруг огненной купины, машут руками. Да что уж махать, пропало заведение, не потушишь, опытным взглядом определил полковник. На соседний бы дом не перекинулось. Эх, сюда брандспойт бы.

И тут же, прямо в ту самую минуту, как он это подумал, из-за поворота донесся звон колокольчиков, топот копыт, бодрое лязганье, и на освещенную пожаром улицу вылетели одна за другой две упряжки.

Первой была лихая вороная тройка, в которой, выпрямившись во весь рост, стоял высоченный тощий монах в лиловой скуфье, с драгоценным наперсным крестом (сам архимандрит, тотчас догадался по кресту Феликс Станиславович). А следом поспешала шестерка буланых, катившая за собой современнейшую пожарную машину, каких в Заволжске еще и не видывали. На сверкающем медными боками чудище восседали семеро монахов в начищенных касках, с баграми, кирками и топорами в руках.

Высокопреподобный соскочил наземь прямо на ходу и зычным голосом стал подавать команды, которые выполнялись пожарными с восхитившей полковника точностью.

Вмиг размотали брезентовую кишку, включили помпу на водяной бочке и сначала хорошенько окатили соседнее, еще не занявшееся строение, а после уж принялись за опресночную.

Получаса не прошло, а нешуточная опасность была полностью устранена. Монахи баграми растаскивали обгоревшие бревна; дымились мокрые, укрошенные угли; отец Виталий, похожий на победоносного полководца среди покрытого трупами поля брани, сурово допрашивал понурого повара.

Ай да поп, одобрил Лагранж. Жаль, не пошел по военной линии, получился бы отличный полковой командир. А то поднимай выше – дивизионный генерал.

Прояснился вопрос и с полицией. Откуда ни возьмись – пожар еще вовсю пылал – появился полувзвод рослых чернецов в укороченных рясах, сапогах, с белыми повязками на рукавах. Командовал ими крепкий красномордый иеромонах, по виду чистый околоточный надзиратель. У каждого на поясе висела внушительная каучуковая палица – гуманнейшее, во всех отношениях отличное изобретение Нового Света: если какого буяна такой штуковиной по башке стукнуть, мозгов не вышибет, а в задумчивость приведет.

Монахи в два счета оцепили пожарище и подвинули толпу, для чего палицы не понадобились – зеваки безропотно вняли призывам порядкоблустителей.

И Феликсу Станиславовичу сделалось понятно, почему на островах порядок и нет преступлений. Мне бы таких молодцов, завистливо подумал он.

Пока возвращался к месту ночлега по тихим, быстро пустеющим улицам, подвергся приступу вдохновения. Под впечатлением увиденного полковнику пришла в голову захватывающая идея общего переустройства жандармерии и полиции.

Вот бы учредить некий рыцарско-монашеский орден вроде тевтонского, дабы поставить надежный фундамент всему зданию русской государственности, мечтал Феликс Станиславович. Принимать туда самых лучших и преданных престолу служак, чтоб давали обет трезвости, беспрекословного послушания начальству, нестяжательства и безбрачия. Обета целомудрия, пожалуй, не нужно, а вот безбрачие хорошо бы. Избавило бы от многих проблем. То есть, конечно, рядовые полицейские и даже офицерство небольшого чина могут быть и не членами ордена, но высокого положения в иерархии чтоб могли достичь только давшие обет. Ну, как у священного сословия, где есть белое духовенство и черное. Вот когда настанут истинное царство порядка и диктат неукоснительной законности!

Полковник так увлекся великими замыслами, ему так вкусно цокалось каблуками по дубовой мостовой, что он чуть не промаршировал мимо «Приюта смиренных» (что в темноте было бы нетрудно, ибо вывеска на нумерах освещалась единственно сиянием звезд).

Благостный служитель оторвался от замусоленной книги, несомненно божественного содержания, осуждающе посмотрел на постояльца поверх железных очков и, пожевав губами, сказал:

– К вам особа была.

– Какая особа? – удивился Лагранж.

– Женского пола, – еще суше сообщил постник. – В большой шляпе, с сеткой на лице. Немолитвенного вида.

Она! – понял Феликс Станиславович, услышав про «сетку». Его мужественное сердце забилося быстро и сильно.

Откуда узнала, где он остановился?

Ах, немедленно ответил сам себе полицмейстер, город небольшой, гостиниц немного, а мужчина он собою видный. Разыскать было нетрудно.

– Кто эта дама, знаешь? – спросил он, наклонившись. – Как зовут?

Хотел даже положить на конторку гривенник или пятиалтынный, но вместо этого стукнул кулаком.

– Ну!

Служитель посмотрел на исключительно крепкий кулак с уважением, неодобрительность во взгляде погасил и украсил речь словоерсами:

– Нам неизвестно. В городе встречали-с, а к нам они впервые пожаловали-с.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

пропустим (фр.)

2

ваше преосвященство (фр.)

3

прошу прощения (нем.)

Купить: <https://tellnovel.com/boris-akunin/pelagiya-i-chernyy-monah-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)